

Юнис Виноградова  
Небесный пекарь



# Юнис Александровна Виноградова

## Небесный пекарь

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=30481798](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30481798)*

*SelfPub; 2018*

### **Аннотация**

Нелюдимый молодой человек Асфодель знакомится с девушкой, которая его давно привлекает. Один из её друзей, странный музыкант Трикстер, обнаруживает в герое необычный темный дар, которым стремится воспользоваться, обещая взамен исполнить его заветное желание. Асфодель понимает, что между девушкой и Трикстером существует некая нездоровая связь.

# Содержание

|          |     |
|----------|-----|
| Глава 1  | 5   |
| Глава 2  | 30  |
| Глава 3  | 42  |
| Глава 4  | 66  |
| Глава 5  | 82  |
| Глава 6  | 105 |
| Глава 7  | 137 |
| Глава 8  | 161 |
| Глава 9  | 194 |
| Глава 10 | 197 |

# **НЕБЕСНЫЙ ПЕКАРЬ**

Посвящаю моим родителям

# Глава 1

*Если кто-нибудь будет любить меня после смерти, пусть об этом промолчит.*

*В. Розанов*

Лестница – именно это укрытое деревьями место было прибежищем любителей запретных трав и алкоголя – это мы знали лучше, чем кто-либо. Ведь здесь прошла наша с Елисеем юность, то время, когда нас уже никто не ждал дома. Ветхая, петляющая, отмытая дождями и опаленная солнцем до светло-серого цвета. В ней уже не хватало чуть не каждой третьей ступени: нам приходилось брать попутчика под руку и вместе делать комически гигантский шаг над ямой, над темнеющей внизу пожухлой травой. Мы собирались здесь после школы, и от страха, что нас застанут с сигаретами, нам становилось еще веселее. Она вела в заброшенный, мертвый райончик, «пряничный городок», как его принято было называть.

Теперь я специально прихожу сюда, потому что знаю, что тут можно застать их: на площадке, поставив ногу в чёрном, до колена прошнурованном ботинке на погнутую нижнюю перекладину перил, стоит Хлоя, со своим вечным отстраненно-печальными видом. Здесь, лицом к ней, потягивая что-то из бутылочки, которую припрятал за пазухой, как бы за-

городив для девушки путь к отступлению, стоит – никак не разберу, то ли надоевший ей спутник, то ли надсмотрщик – отвратительный долговязый Дждад.

Пожалуй, я единственный, кто гуляет здесь в это рассветное время просто так, не потому, что ему требуется попасть на работу из старого города в новый. Но и мне скоро нужно будет улизнуть в пекарню, и притом так, чтобы они не догадались, что я тоже тут, внизу, караулю, прислонившись к лестничной балке. Хлоя курит, медленно, машинально выдыхая кудрявый дым. «Когда она говорит по телефону, то всегда. Обычно, приходя домой, первым делом она... у нее была одна странность...» – обо всем этом я на самом деле даже понятия не имею, но хотел бы знать все о ней. С болезненным любопытством я выяснял эти вещи, тайком, так, что она вообще не догадывалась о моем существовании. Наверное, я и есть трус, ведь боюсь даже подойти к ней и заговорить, попросить сигарету, в конце концов. Но я чувствую, что должен это сделать – заглянуть в ее глаза, чтобы быть готовым встретить то, что ее ждет, может быть, завтра, может быть, через несколько минут. Возможно, то, что я следил за ней, но не приближался настолько, чтобы она заметила меня и невольно запомнила, было не очень честно по отношению к ней. Вдруг ей тоже любопытно было бы узнать обо мне всякие мелочи, которые знают друг о друге только друзья. Например, почему я никогда на ночь не выключаю в своей комнате свет, и в конце коридора тоже оставляю горящим ноч-

ник. Или почему у меня каждая комната запирается на ключ, точно они все принадлежат разным людям, хотя все ключи хранятся только у меня? Они лежат в ящике из-под кубинского сахара, даже это я мог бы рассказать тебе, милая. Но с чего бы вдруг это тебя заинтересовало? Ведь девушек вроде тебя не привлекает глупая Синяя Борода. И потом, нужно еще поискать двух людей, настолько разных, как мы с тобой. Такие как ты спят до обеда, медленно возвращаясь к жизни после ночи, каждая из которых перетекает в вечеринку, лениво ходят по квартире в шортах и тапочках, с растрепанной головой, нашаривают на полке пачку сигарет и, не завтракая, курят, бесстрастно поглядывая в окно или высунувшись из окна уютной лодки-лоджии. А в ответ на них плятятся бесконечные копии их домов, гигантских неровно расставленных свечей неведомого торта. И поэтому, если присмотреться повнимательнее, отвлечься от острого кончика сигареты (указывающей, по поверью, что тебя кто-то любит), и не щурить глаз, когда туда норовит влететь непрошенная пепельная мушка, обязательно заметишь в окне напротив еще одну надутую сову, приходящую в себя после ночного вылета в город. Так вот, когда ты только приходишь в себя, я уже шесть часов на ногах, принимаю продукты для утренней смены, замешиваю опару, когда за окном вместо неба все еще плоская чёрная доска. Потом – небольшой перерыв, можно выпить кофе, сидя на скамейке между стеллажами в кладовке, маленькой подвальной комнате без окон, но я почти всегда иду

с ним в свою рабочую комнату, потому что она одна из самых светлых в доме. Когда оконное стекло словно заливает жирными синими чёрнилами, после многих часов замешивания, выстаивания и сажания хлеба в печь, я сажусь, наконец, на табуретку (руки звенят от усталости), и понимаю, что можно собираться домой. Сегодня я сбегу немного раньше, потому что мне нужно снова непременно увидеть тебя, а если вдруг ты не придешь на свое обычное место, то найти.

Я шел по тихому городку, сплошь состоящему из новеньких, невысоких зданий, полностью готовых, с еще блестящей на них краской, точно оставленных подсыхать старательным ребенком. Райончик этот, примостившийся между двумя поросшими лесом холмами, был идеален для жизни, но напроць ее лишен, пуст, как бывает пуста декорация завершенного фильма. Подобие жизни можно было наблюдать здесь только по утрам и вечерам, когда люди шли через этот район по своим делам. И я бы принял его за выдумку, если бы не видел собственными глазами всякий раз, когда спускался по Уклону. Это узенькое, по-средневековому мощное брусчаткой ущелье, над которым нависали укутанные сеткой дома-прокаженные, прорывалось неожиданно посредине в уютную, также ныряющую вниз и за поворот улочку, блестящую праздничными огоньками новой, свежепокрашенной в красный и желтый маленькой гостиницы. Все подоконники ее были украшены еловыми ветвями, щедро припоро-



шенными искусственным снегом, но ни в одном окне не горел свет. Я вообще не помнил, въезжал ли сюда кто-то когда-либо. За гостиницей пряталась еще вереница таких же пряничных домиков, дальше было раздорожье: одна узкая улица, еще со следами песка и прочего строительного мусора, вела мимо пустых зарешеченных витрин будущих банков и аптек к лубочно пузатой церквушке. Другая же, обнаруживая несколько дорогих особняков, окруженных садиками, и какой-то домик-замок с разноуровневыми переходами, внезапно обрывала это леденцовое царство на грязном пустыре, с жирной, разъезженной грузовиками грязью. Там были свалены бетонные плиты и ненужные больше размытые дождем кучи песка. Дальше, за этими странными барханами, стоял дом с ирисами, который я мысленно так называл из-за барельефа в виде семи тонких, болезненного вида цветков на фронтоне, прямо над входом. Он был тут, видимо, еще до всех прочих. А за ним уже шептались тёмной тяжелой зеленью деревца, росшие у подножия двух холмов; под сенью этих зарослей можно было вскарабкаться наверх. «В низине селиться плохо – комарье, болотный воздух», – вспомнились некстати неодобрительные слова, брошенные местной торговкой.

Мне повезло, я сразу заметил ее на площади недалеко от Дома с ирисами: она стояла рядом с уличными музыкантами, протягивая перед собой шляпу и предлагая каждому проходящему вознаградить их за нехитрую затею. Чуть позади нее

парень со светлыми, растрёпанными волосами, по обыкновению глядя куда-то в сторону, не очень умело играл на флейте какую-то грустную мелодию.

Девушка заметила меня издалека, шагов за десять, и перестала водить свою шляпу перед быстро проходящими мимо людьми, которые в основном смотрели на этот тёмный головной убор так, будто им предлагали запустить руку в капкан. Музыканты с девушкой зарабатывали на этом самом месте, возле бордюра на пустеющей вечерней площади, уже не первый день. Именно там я заметил ее впервые, и она поразила меня тем, с какой грустной серьезностью выполняла эту работу, которая многим кажется недостойной – «пусть идут работать, вечно эти негодяи на пиво клянчат!». Обычно такой профессиональный проситель, аскер, старается быть приветливым и улыбочивым, чтобы понравиться прохожим, нередко у него заготовлены смешные, неожиданные фразы, или же он сам вытворяет маленькие забавные фокусы, пританцовывая под музыку, чтобы заполучить в свою шляпу побольше измятых бумажек.

Но она не стремилась этого делать. Она вела себя так спокойно и уверенно, точно все и так знали, что должны положить пару золотистых монеток в ее большую старую шляпу с полями. Она смотрела на проходящих мимо людей внимательным, очень пристальным взглядом черных глаз, и была сама серьезность, выполняя как будто важный обряд. И странно, но это имело действие – то и дело кто-то, в основ-

ном мужчины, останавливались на минутку, чтобы опустить что-нибудь в протянутую шляпу.

Некоторые, как это обычно бывает, бросали кроме денег жетончики, жевательную резинку, конфеты, но купюры тоже попадались часто. Не верилось, но мне рассказывали, что за вечер такая команда могла собрать даже несколько сотен, которые затем честно делились на всех и тратились. Разумеется, на еду и алкоголь, о чем некоторые честно предупреждали на стоящей подле картонке. Все эти простые обычаи я знал еще из нашего славного прошлого. Проверив карманы, я тоже заготовил купюру – не слишком много, но и не оскорбительно мало – и двинулся к музыкантам по мокрой брусчатке. Я приблизился к девушке: большие глаза на бледном округлом лице с вечно смазанными вокруг них тенями, всегда серьезный рот, невыдающийся чуть вздернутый нос – это лицо производило такое впечатление, будто оно лишь случайно совпало с человеческими представлениями о красоте. Что касается меня, чем больше странного было в ее лице, рваных движениях, чёрной, отрицающей остальные цвета одежде, тем интересней она мне казалась. «Ненормальный тянется ко всему ненормальному, это ясно, как белый день», – подытожил внутренний голос, но я только улыбнулся его ворчанию. Не замедляя шага, стараясь напустить на себя рассеянный вид, как будто тороплюсь, я опустил в протянутую ею шляпу ветховатую бумажку. Она ответила мне небольшим ироническим поклоном. Я остановился воз-

ле музыкантов – мое подношение теперь позволит мне задержаться возле них чуть дольше, точно мне и правда нравится незатейливая игра двух музыкантов-нерях у девушки за спиной. На самом деле я пытался запомнить как можно лучше именно ее. Я прихожу сюда уже не впервые, но каждый раз – из-за нее. Мир сузился для меня сейчас до пределов ее хрупкой фигуры, одиноко чернеющей на блестящей мостовой. Зябкий вечер осторожно обнимает ее за плечи, за спиной бренчит фальшивым перебором гитара, но еще чуть-чуть – и я перестану слышать ее назойливый звон. Стараясь не встретиться с ее взглядом, я смотрю вскользь, на старую коричневую стену дома, но боковым зрением рассматриваю ее сочно-голубые глаза, глаза цвета лета, до которого еще так долго, которые тоже рассеяно блуждают по вывескам за моей спиной, в поисках следующего желающего поблагодарить за игру. Получив желаемую награду, она, казалось, тут же совершенно потеряла ко мне интерес. Хотя я понимаю это, но, будто загипнотизированный огоньком сигареты в маленьких белых пальцах, не могу оторваться, и с какой-то болезненной нежностью поминутно смотрю то на них, то на обветренные сжатые губы, жадно втягивающие дым. Дым и наше дыхание сливаются в одно облако, в котором мы стоим, одни посреди пустой зимней улицы. Увидимся ли мы снова? Может, когда я буду искать ее, то уже не найду на лестнице или с уличными музыкантами, и я больше не увижу эту диковинную и диковатую девочку. Поэтому сейчас я смотрел на нее и старал-

ся вобрать в себя малейшие детали ее образа – моток разноцветных ожерелий-змеек на шее, перепутанных с тускло поблескивающими цепочками. Они оставляют открытой маленькую ямку между ключицами, смутно белеющую слоновой костью. Ее шея выглядит такой незащитной в небрежно застегнутом чёрном воротнике, что я хотел бы его поправить, но она бы мне не позволила. Отвела бы мою ладонь или сама отстранилась бы. Может, я боюсь ее? нет, скорее просто не хочу упустить, спугнуть, как бабочку, неожиданно севшую на подоконник. Внезапно налетевший ветер треплет ее юбку, тоже угольно-чёрную. Из-за этого наряда она кажется мне тихой монахиней, которая смиренно опустила глаза. Монахиней с огромными, грубо подведенными глазами, в которых заплясали холодные синеватые огоньки, монахиней с красными спекшимися губами. Она сегодня пила вино, смутно понимаю я. Много дешевого вина влилось сегодня в этот прекрасный рот, но это не утолило его жажды. Я чувствую, как странные тонкие иголки пробегают у меня по спине, стоит мне приблизиться хоть на сантиметр ближе к ней, их посылает ее серьезный испытующий взгляд исподлобья. Я пытаюсь ответить себе, чего хочет эта странная девочка, кажущаяся одновременно озлобленной и нежной, так похожая на всех своих бездарных дублерш из фильмов ужасов? Нет, разумеется, это их выбрали лишь из-за приблизительного сходства с ней. Ниточки сизого дыма вырвались из ее ноздрей, она словно говорила: «Ну, чего еще тебе нуж-

но?»), но не переставала, однако, улыбаться сомкнутыми губами. Я даже не заметил, как моя рука протянулась к ней, одну бесконечную секунду в моей голове, как в игрушке-буранике, крутились мысли: какой будет на ощупь ее кожа: холодной и гладкой, какой кажется? бархатной, детски теплой? Своим внезапным движением я сократил разделяющее нас расстояние, и, мне показалось, явственно услышал, как раскалывается тонкая корочка льда, появляющаяся на воде в первые холодные дни осени. Она не испугалась. Она сделала маленький шагок навстречу и заглянула мне в глаза, а я не мог ответить ей тем же, я просто стоял, как нелепый британский стражник. Тут двое парней приблизились к нам.

Один чуть ниже меня, со светлыми крашеными вихрами и ярким ртом, второй – высокий рыжий неприятный тип. Мне показалось, что оба они уже немного пьяны.

– Ну что, улитенок, много собрала? – обратился он к девушке, смело обхватывая ее сзади. Она не удивилась и не воспротивилась. «Улитенок»? Господи! Неужели это ее парень? Хотя разве это странно, что она не одна...

– Сегодня негусто. Руки замерзли, если честно, – негромко произнесла девушка, повернувшись к парню. Тот нагнулся поцеловать ее, но она отвернулась, и ему удалось лишь зарыться лицом в ее волосы. Голос у нее был негромкий, но четкий, грудной. Есть люди, которым не идут их голоса, те словно стыдятся их, выплевывая слова отрывисто и скупно, но девушке определенно шел ее тембр, напоминающий бархат.

Рыжий принялся неловко засовывать гитару в брезентовый чёрный чехол. Девушка отдала своему спутнику шляпу и зябко потеряла ладони, парень прятал в заплечный мешок флейту. Вот-вот уже они уйдут, и неизвестно, удастся ли мне застать их снова!

Блондин только сейчас, похоже, заметил меня, недоверчиво осмотрев, спросил свою подругу, указывая на меня:

– Эй, это с тобой?

Она замялась, снова одарив меня внимательным взглядом.

Наконец. – Я Хлоя, а тебя как зовут?

– Асфодель.

– Это наш самый благодарный слушатель за этот вечер, – сказала девушка спутникам.

– А, ну спасибо, мужик, – отозвался блондин, немного повеселев. – Но нам пора, еще есть дела.

Девушка приняла у рыжего какой-то свой сверток и плотнее завязала на шее шарф. Парни уже собрали свои вещи и двинулись вглубь улицы по блестящим спинкам булыжников. Но она, к моему счастью, медлила.

– Слушай, мы сейчас пойдем выпить чего-нибудь на вырученные деньги. Не хочешь с нами? – спросила она.

Я хотел. И она даже на самом деле не знала, как был этому рад.

Мы расположились отдохнуть на скамейке в парке, взяв в автомате кофе. Светловолосый, представившийся Мар-

сом, удивительно напоминал мне одного человека: светлыми вихрами, несглаженными углами. Я чувствовал, что он был как бы порохом, которому достаточно крохотной искры, чтобы вспыхнуть: смехом ли, яростью. Рыжий же все время молчал, только поглядывал на девушку.

– А почему бы тебе не сходить с нами на представление? – спросил Марс. Его неприязнь ко мне, кажется, стала проходить.

– Правда, там всегда суматоха, – заметила она. – Мельтешат огни и вечно громкая музыка.

– Ну и что? Готов поспорить, ты уже давненько не отрывался, а?

«Вот сейчас, – быстро посоветовал внутренний голос, – открой рот и скажи: «Спасибо, ребята, но я, пожалуй, пойду, меня же жду...» – Знаю, что ждут, – оборвал я голос, – Но ты понимаешь, что значит такое приглашение? Это, может быть, мой первый и последний шанс!».

– Мне очень хочется пойти, но... – начал было я.

– Э, только не нужно отнекиваться. Не понравится – просто уйдешь. – сказал парень.

– Дело твое, конечно, – тут же добавила девушка. – Но я, например, могу обидеться, если ты не пойдешь. И ведь Марс же не сказал самого главного – мы не просто зрители – мы сами будем там выступать!

– Ты не думай, – встрял Марс, – представление будет не чета этому – сделал он небрежный жест в сторону площади, –



то брэнчание – только разминка, все ради смеха. Вот вечером начнутся настоящие чудеса – там уж будет не до сбора мелочи, – с этими словами он вновь полез с ласками к девушке. Я отвернулся.

– Ну так что же – ты с нами? – спросила она, потягиваясь с притворной ленцой. Я понимал, что надо согласиться. Не только потому, что меня убедили их доводы. Не только из-за того, что мне, конечно, было очень любопытно посмотреть, что эти двое будут делать на сцене. Тут крылось что-то еще, гораздо более важное. Хотя я изо всех сил старался не смотреть на них, то, что девушка и Марс просто были рядом, уже включило во мне ненавистный маховик – мне поневоле стали передаваться их ощущения. Рыжий казался вроде как усталым. Парень с девушкой, хотя и старались выглядеть беспечными, на самом деле были напряжены. Чего же им опасаться? Того, что случится на концерте? Или это обычный страх сцены? Нет, не только это. Я вдруг с беспокойством начал ощущать, будто какая-то ниточка грозила вот-вот оборваться, но всё мучительно не мог догадаться, какая. Так порой не можешь заснуть оттого, что ломаешь голову, не в силах вспомнить что-то важное. Кому-то из них угрожала опасность, может, даже смертельная.

– Послушайте, может, не пойдём, а просто выпьем где-нибудь? – с надеждой предложил я.

– С какой стати? – насмешливо сказал Марс. – Нельзя не явиться, Трикстер сильно рассердится, а его нельзя расстра-

ивать.

– А кто он?

Повисла пауза.

– Главный над вами? Актер? – продолжил расспросы я.

– Ну, что-то вроде этого, – сказал Марс.

– И то, и другое, – улыbnулась девушка.

– Что он обычно делает на концерте?

– Всё. – просто, убежденно произнесла она. В ее голосе было уважение и... страх?

Возможно, я хотя бы смогу ей помочь.

Поплутав по вечерним улицам, мы дворами вышли к тёмному заброшенному дому с закрытыми жестью окнами. Обогнув его, мы оказались у приоткрытой железной двери, из-за которой лился синеватый свет.

Тут рыжий, Джад, как называл его Марс, жестом велел нам остановиться. Долговязый достал маленький штамп и поставил нам на запястья печати, светившиеся при свете люминесцентной лампы у входа: печать изображала наклоненную голову, как я решил, минотавра.

Затем мы проследовали дальше по старому коридору со вздыбленным линолеумом. По углам валялся какой-то мусор, разломанные стулья.

Мы вошли в одну из комнат, переделанную под примерную. На разохшемся паркете стояли ширмы, у стены прилежало надтреснутое зеркало.

Не прячься за загородками, несколько девушек спешно

переодевались в белые трико с перьями. Я было смутился, но быстро понял, что на нас не обращают никакого внимания. Хлоя прошла за ширму, разворачивая свой сверток. Мы с рыжим и Марсом вышли, и парни повели меня дальше по тёмному коридору, через клубки проводов и старые ящики. Коридор вдруг вывел нас в большой зал с освещенной сценой. Здесь еще сохранилось несколько рядов линиялых театральных кресел, от которых шел душный запах ветоши. Должно быть, это какой-то заброшенный дворец культуры, решил я. В зале уже было человек двадцать парней и девушек, кое-кто устроился в креслах, потягивая пиво, остальные сидели на полу, почти все были в чёрном.

Там, на сцене, я впервые увидел Трикстера. Он был невысоким, скорее коренастым, с крупной стриженной головой и небрежной щетиной, одет был просто, в белую футболку и чёрные джинсы, на вид довольно поношенные. Он возился с микрофонной стойкой, и от его фигуры на истертые доски сцены падали две косые тени. Его руки от кистей до плеч были покрыты татуировками в виде, как мне показалось, листьев и переплетенных тёмных стеблей травы. Марс потянул меня за рукав:

– Пойдем, познакомлю тебя с ним.

– Нет-нет, что ты, я просто посмотрю, я вообще не знаю, что могу ему сказать.

– Ты что! Посмотри на этих людей – они все мечтали бы оказаться на твоём месте.

Все так же придерживая меня за руку, словно боясь потерять в пока еще негустой толпе, которая уже собиралась перед сценой, Марс быстро взбежал по узкой лесенке, приставленной к сцене сбоку, и буквально поставил меня перед Трикстером. Он внимательно посмотрел на меня, задержавшись на моем лице, но я отвел взгляд, чтобы не смотреть прямо в его карие, глубоко посаженные глаза. Многочисленные кольца в его ушах блестели при свете ламп, даже брови были проколоты острыми серьгами-шипами. На его лице блуждала неопределенная насмешливая улыбка. Он молчал.

– Добрый вечер, очень приятно, – промямлил я.

– Это ненадолго, – с ироничной улыбкой проронил он.

Марс тоже усмехнулся. Запихнув руки в карманы рваных джинсов, он оглядывал всё прибывающую толпу.

– Чувствую, сегодня представление выдаться отменным, – сказал парень.

– Тебе пора переодеваться, Марс.

Трикстер посмотрел на меня с хитрой улыбкой заговорщика, весь его вид словно говорил мне: «Ну, как думаешь сам, чего ты стоишь?». Я поспешил перевести взгляд на его подбородок, чтобы вновь не попасться в ловушку тёмных, глубоко посаженных глаз. Затем музыкант скрылся в глубине сцены.

Трикстер совсем не походил на рокера, которого я уже успел нарисовать в своем воображении, хотя его вид и говорил об обратном. Он был, как мне показалось, очень сосре-

доточен и спокоен, будто шаман перед медитацией. Легкий же смешок и улыбка оставались при этом как бы на поверхности.

Спускаясь по лестнице, я заглянул в провал кулисы и вновь увидел девушку: она уже успела переодеться в золотистое трико с разбросанными по ткани переливающимися камешками, открывающее худые бледные ноги. Обуви на ней не было.

Она улыбнулась мне и тронула за запястье:

– Скоро начинаем. Подожди, Асфодель.

Ее волосы были так черны, что в свете софитов отливали синевой, а бледная кожа будто обладала каким-то своим внутренним свечением. Сейчас, освещенная огнями сцены, Хлоя показалась мне совсем другой – крохотной, но ослепительной искрой.

Мы с Марсом снова прошли через коридор за кулисы, и я чуть было не упал, зацепившись за одну из многочисленных веревок, свисавших с тёмного потолка.

– Ты музыкант?

– Да нет, – махнул он рукой.

– Как ты попал сюда?

– Да так же, как и ты, случайно, – проронил он. Марс улыбался, но мне показалось, что в его голосе мелькнула нотка раздражения – он не хотел, чтобы я был здесь? Ревновал меня к Хлое?

– Я встретил ее в компании, познакомился. Она пригла-

сила меня на концерт. Трикстер заметил меня, сказал: «Хочешь попробовать себя в представлении?». Я хотел.

– Кто этот Трикстер?

– Скоро увидишь. Артист, если не углубляться. Он очень интересный... человек. Может, после представления тебя проведут в гримерную, он будет там.

Я кивнул, хотя на самом деле меня не интересовал этот певец, мне просто хотелось вновь увидеть девушку с печальным выбеленным лицом, казалось, всегда готовым к пантомиме.

Парень будто угадал мои мысли.

– Что, нравится тебе Хлоя?

– Она привлекает внимание, – обтекаемо выразился я.

– Да, к ней всех тянет, – грустно улыбнулся парень.

Возможно, он и не был таким неприятным, каким показался мне сначала.

Тут Марс покачнулся, схватившись за грудь.

– Эй, что с тобой? – наклонился я к нему.

– Да так, ничего, надо меньше пить. Ладно, мне скоро пора выступать, – сказал Марс, и я вновь отправился в зал.

Народу уже собралось порядочно, сидячих мест не осталось, очень многие устроились под сценой прямо на пол. Я прислонился к стене. Минут через десять публика начала выказывать признаки нетерпения, свистя, улюлюкая и топая ногами. При особенно энергичных движениях разошедшиеся паркетные доски взмывали вверх, что неизменно вызывало

приступы хохота.

Наконец раздалась печальная струнная мелодия. Первыми на сцене появились девушки, которых мы застали за подготовкой в гримерной. В белых пышных юбках, украшенных чёрными перьями, они сделали несколько пируэтов, затем взялись за руки, кружась. Золотым язычком пламени в их хоровод ворвалась чёрноволосая девушка, и они окружили ее, как бы стараясь прикоснуться и не смея, а затем подняли на руки и вознесли вверх. Музыка стала более тревожной, и стайка прекрасных танцовщиц разбежалась, словно страшась чего-то.

И вот пружинящей походкой на сцену вышел Трикстер. Полог за его спиной поднялся, там стояла барабанная установка, место за которой занял Марс. Трикстер же держал в руках большую многоствольную флейту, это она звучала за сценой.

Публика, откровенно скучавшая при балетном выступлении, оживилась и заулюлюкала. Они явно пришли сюда именно за этим. Музыка Трикстера напомнила мне записи со старых родительских кассет. С написанными от руки на бумаге названиями групп вместо обложек, они были артефактами невероятной эпохи – когда нашим родителям было столько, сколько нам. Я, стоя среди покачивающейся в такт музыке толпы, чувствовал все то же полудозволенное наслаждение, которое мы ощущали, ставя эти кассеты, грозившие вот-вот рассыпаться в немой прах. Подростки стали прыгать,

вскидывать вверх сложенные в «козу» руки и подпевать. Мне удалось разобрать только фразу «мертвый лотос».

Ликование публики, агрессию музыки и ее ритм, такой сильный, что отдается у тебя в груди, мешая ритму сердца или смешиваясь с ним, я ощущал в десятикратном размере. Я внезапно понял, насколько они, нарочно натыкающиеся друг на друга, бьющие плечом и сбивающие друг друга с ног, пьяные и веселые, неистово целующиеся – младше меня, и впервые, наверно, почувствовал, что я уже не так юн. Ведь обычно это я был мальчишкой среди грузных пекарей и огромных женщин за прилавком. Здесь же почти все были подростками, пусть и некоторые из них – густо и старательно накрашенные рослые девицы и парни в цепочках и чёрной одежде – и старались выглядеть старше. Странное дело, они все маскировались под взрослых, и только я – наоборот. И мне было ясно, всё это сделано, чтобы зацепить меня, завлечь и повести очарованного за собой. Так недоверчивая крыса подозрительно смотрела бы на дудочку крысолова. Именно поэтому мне смутно не нравилось то, что здесь происходило. Я отвык от громкой музыки, оглушительной, такой сильной, что ее ритм чувствуешь у себя в груди вместо ударов сердца. Отвык от этого бешеного, нарочитого веселья, в котором мы купались еще несколько лет назад. Последнее время все мои развлечения сводились к тому, что я слушал старый рок. Также я больше почти не пил с тех пор. Выпивка больше не заставляла меня летать, как в 16–17 лет,



теперь от алкоголя у меня чаще сжимало виски и неудержимо клонило в сон.

Марс выдавал неистовые комбинации на ударных, Трикстер играл виртуозно и быстро. Я даже не ожидал, что постепенно его музыка придаст мне столько энергии, сообщит какое-то залихватское, почти сумасшедшее веселье. Флейта позволяла почувствовать себя точно на каком-то древнем празднестве вина. Где-то после пятой песни мне даже захотелось двигаться в такт музыке. Я помню, что пока длился концерт, весь зал словно слился в едином порыве, в одном безумном ритме. В этом царстве сумасшедшей мелодии, света и мелькающих ярких огней кровь стучала в нас, подчиненная музыке этого татуированного человека.

Наконец Марс вышел из-за установки, и Трикстер, оставшись в одиночестве на сцене, освещенный столбом света, исполнил что-то вроде затейливой средневековой баллады. Это было последней песней вечера и музыкант поклонился, раскинув руки. Публика кричала и бесновалась, требуя возвращения Трикстера. Кто-то попытался залезть на сцену, но его стащили.

А потом, как я понял, пришло время настоящего театрального представления, и довольно странного. Сначала на сцену вновь вышел Марс, его кожа была разрисована золотисто-бурыми красками, на бедрах была белая драпировка, во взлохмаченных волосах – бумажные розовые цветы, красивые, невзирая на их искусственность, на шее – цветные це-

почки и костяные бусы (наверное, взял у моей белоснежки). Он шагал гордо, как на каком-то торжественном шествии, а в руках держал амфору. Из-за кулис выбежала стайка девушек-лебедей, они начали кружить возле него, протягивая к ней руки, но Марс оставался невозмутимым, он продолжал идти, его глаза мягко смотрели в никуда. Вдруг на смену лебедям пришли чудовища – удивительно, но за кулисами я не видел никого в таких костюмах – с серой кожей и разинутыми красными пастями, они взяли Марса в кольцо, и это выглядело действительно жутко. Он словно проснулся, испуганно заморгал глазами, захотел вырваться из круга, но одно из чудовищ сразу же чуть не схватило парня.

Толпа тем временем бесновалась. «Добей его!», – крикнул кто-то, и зал взорвался хохотом.

Но тут Марс внезапно крутнулся на одной ноге и – волшебный фокус – вместо него на сцене, но уже за страшным кругом, появилась Хлоя в том золотистом наряде, амфора была уже у нее. Зал аплодировал и свистел. Серые монстры двинулись к Хлое, и та начала пятиться вглубь сцены. Когда их когти почти коснулись девушки, сверху упал канат, она схватила его одной рукой и легко поднялась в темноту. Чудовища топтались, разевая рты, старались достать ее, пока не опустился занавес. Зал взорвался криками и аплодисментами, кто-то неистово размахивал открытой бутылкой пива. Под сценой началась толкотня и драки.

Я протолкался через густую толпу к железной двери чёр-

ного хода, за которой был пустырь, прямо же перед дверью темнела неглубокая яма с подгнивающей листвой. Я остановился у входа, наслаждаясь холодным ветром, таким свежим после прокуренного, жаркого нутра клуба.

Только я достал сигареты, как услышал тихий стон. В яме что-то белело. Я подошел ближе и увидел там... Марса. Он, все еще по пояс голый, измазанный бронзовой краской, скорчился на ее дне.

Я обхватил его и потащил – не смог приподнять, таким обмякшим, тяжелым было его тело. Оно оставляло след на усыпанной палой листвой земле. Спиной открыв заднюю дверь клуба, я занес его туда. За ней чернела ниша, образованная лестницей. Сверху раздавались голоса – там, через два лестничных пролета, была гримерная. Я хотел было броситься туда, чтобы привести кого-нибудь на помощь, но Марс судорожно и неожиданно сильно вцепился в мою руку, замотав головой. Тогда я положил Марса в этот тёмный угол, откуда на меня глянули исковерканные, странно изломанные лица со старых скомканных плакатов. «Послушай-послушай, – вдруг зачастил он, задыхаясь. – Она... это они. Берегись их. Они оба...», – его голос сорвался. Марс хватал воздух ртом, но никак не мог сделать вдох. Я не знал, что делать, меня и самого стала бить дрожь. Я приподнял его голову – бесполезно. На его худой обнаженной груди, измазанной землей, выделялась каждая косточка. Он дергался в отчаянной и, как уже было очевидно, бесполезной борьбе за жизнь, и я не мог

понять, что было тому причиной – на нем не было заметно никаких ран. Что же это с ним?! «Может, астма? Все вы тут курите, как будто никогда не умрете», – проворчал очнувшийся внутренний голос. «Господи, не сейчас. Лучше скажи, что делать!». «Уже ничего, малый – смотри». Я опустил глаза и вдруг встретился с потемневшим взглядом Марса, застывшим в отчаянии и мольбе. Я быстро пощупал пульс на его шее – ничего. «Не бойся, Асфодель. Его глазам уже ничем не испугать тебя». Действительно, понял внезапно я, только во взгляде мертвого мне уже ничего не прочесть. Возле тела парня я заметил нож – короткий, блестящий, с простой чёрной рукояткой. Вероятно, он выпал у него из кармана. Поколебавшись несколько секунд, я, толком не зная, зачем, спрятал его за пазуху.

В зале тем временем уже повис настоящий туман от табачного дыма. Часть зрителей, устав и изрядно выпив, лежали прямо на полу, небольшими группками, многие обнимались, остальные вроде как спали. Трикстера нигде не было видно. Все в основном были одеты в чёрное, и я с тревогой подумал, как же я найду в этой темноте Хлою. Но вскоре я заметил ее: она, тоже уже изрядно пьяная, пошатываясь, ластилась к парню в косоворотке. Когда тот отодвинулся, она невозмутимо повернулась к его другу, но тот тупо и упрямо раскуривал трубку, не замечая ее, и вскоре она отключилась. Мне было на это наплевать. Я подошел к ней и бережно взял на руки, завернул в лежавшее на полу пальто: главное, хоро-

шо, что с ней было все в порядке, в этом адовом и непонятном цирке.

Я нес свою бессильно обмякшую добычу, так и оставшуюся в золотом трико. Бледные блески сыпались на землю и прилипали к моим влажным ладоням. Я нес свою потерявшую сознание золотую рыбку, о чем не смел раньше и помыслить, в душе чувствуя себя гнусным Квазимодо. Мое сердце бешено стучало. Господи, лишь бы никто не заметил меня, идущего по пустынным ночным улицам полубезумного парня в чёрном, сжимающего в объятьях полуголую танцовщицу! «Ну, даже если тебя кто-то увидит – скажешь, что забрал свою подругу пьяной из клуба... это же почти правда». Конечно, господин полицейский. Вы же не узнаете, что за этой девушкой я следил уже несколько месяцев, и лишь сегодня мне неожиданно удалось познакомиться с ней, но совсем не так, как мне хотелось. И вот я уже несу ее к себе домой, как старый, алчный паук, не веря своему счастью, не веря, что все это случилось на самом деле. Ах да, господин полицейский, еще я только что попрощался с ее парнем, я выслушал его последние в жизни слова, и не понял из них ровным счетом ничего. Он умер у меня на руках, господин полицейский, и был первым человеком, смерть которого произошла на моих глазах – было это просто, быстро и до безумия страшно. Но вы, дорогой служитель прядка, конечно, не узнаете ничего из этого. И, быть может, даже похвалите меня за то, как бережно несу я домой мою перебравшую подругу.

## Глава 2

Конечно, мне хотелось, чтобы она была моей, с тех самых пор, как я увидел ее, все так же скользящей неверной походкой по осенней улице. И теперь она, ранее такая недосыгаемая, лежит в уголке моей кровати, маленький спившийся ангел.

Я обжегся, торопясь поставить чайник, словно чувствуя себя гостем на собственной кухне из-за этой странной девочки. Что же она любит? Что приготовить – чай или кофе? Впрочем, кофейная жестянка все равно была почти пуста. В углу холодильника сиротливо жалось несколько яиц и пожелтевший кусочек сыра.

Она медленно открыла глаза, задумчиво осмотрела закипающий на плите бесхитростный железный чайник, мутное окно... я снял салфетку с блюда с булочками и поставил его перед ней.

– Как вкусно пахнет, кажется, будто их только что выпекли.

– Да, у меня всегда свежий хлеб.

Я должен был рассказать ей о том, что случилось ночью. Что ее парня больше нет. Должен был, но никак не мог набраться смелости.

– Так ты булочник!

– Пекарь. Люблю думать, что я продаю людям частичку

домашнего тепла. Раньше, когда в каждом доме была печь, люди сами пекли хлеб. Теперь это за них делаем мы, даже на Пасху. Ведь хлеб – всегда больше, чем просто еда.

– Я бы, наверное, не смогла испечь хлеб.

– Это совсем не сложно. Послушай, вчера кое-что произошло... Марсу стало плохо после выступления. Мне кажется, он умер...

Она помолчала, потом вдруг хихикнула.

– Не могу поверить, что ты купился! Марс актер, он обожает всякие глупые трюки. Однажды переоделся старухой и целый день просил милостыню на центральной площади. И довольно много собрал.

– Мне кажется, ты не понимаешь. Он не дышал.

– Господи, мы же фокусники. Он может обходиться без воздуха в бочке с водой, минут двадцать! Марс разыграл тебя, потому что ты ему не понравился. Из-за меня, заметил, как ты на меня смотришь. Но только мне все равно, он не мой парень, только хочет так думать.

Я отвел глаза. Что за чертовщина. Может, я и правда глупо попался на шутку своего соперника?

– Асфодель... – после долгой паузы произнесла Хлоя, как ни в чем не бывало. Красивое имя. Что оно означает?

– Это горный цветок, его очень сложно найти. Некоторые считают, что он вообще не существует.

Когда я внимательно смотрел на ее пальцы, разламывающие пахучий сдобный мякиш, мне казалось, что только это и

имеет значение, как она отламывает маленькие ноздреватые кусочки и осторожно берет их улыбающимися губами, и что сейчас я внимателен, как никогда, к тому, что действительно важно.

Я ясно видел, как преодолею кажущееся бесконечным расстояние в полметра и прижму к себе ее воробьиное тело, и одним рывком разорву покой моего одиночества, в котором живу, а она, замерев от неожиданности, обнимет меня в ответ и бесстрашно поднимет ко мне свое незащищенное лицо. Я тепло прижму к себе ее полудетское тело, уже пережившее многое, наши движения станут быстрее и беспорядочнее, а дыхание участится. Мы будем отрываться друг от друга только затем, чтобы полной грудью вдохнуть воздуха, и тут же опять бросаться в эту зыбкую глубину.

Но я не мог себе этого позволить, и смешно, как подробно я представил себе эту нашу несуществующую близость, в то время как наши тела соприкоснулись единственный раз, когда я нес ее ночью на руках, как несут уставших от игр, задремавших детей. Вот только ее игры уже не были невинны. Обычно в них играют люди, желающие вычеркнуть оставшийся смысл из своей, как они чувствуют, неудавшейся жизни. И я не мог и не желал позволить себе стать таким же, как все они, не хотел, чтобы она запомнила меня одним из них, ищущих быстрого, легкого забвения с туманом от выпитого в голове, после которого обычно остаются равнодушными и вечно продолжающими свои мелкие, суетливые дела,



как животные. Кем вообще она видит меня, глядя сосредоточенно из-под взъерошенных черных волос – не таким ли раздолбаем-любителем ночных гулянок, в чьей постели нередко оказываются те, кого не знаешь по имени?

И так мне оставалось только смотреть на нее, как в тот первый день, когда мы впервые заговорили. Возможно, и она считала меня странным, но мне по-настоящему и не хотелось этого знать. Она нравилась мне не столько такой, какой была, сколько такой, какой казалась. Нет, вернее, она была мне интересна тем, что я видел ее под тем шаблонным образом, придуманным не ею и неровно напыленным на себя. Что останется, если смыть эти чёрно-синие стрелы с ее век, серые, серебристо смазанные тени, превращающие глаза в испуганных махаонов, если убрать старательно наведенную восковую бледность, нарочитую черноту волос, ресниц, бровей? Будет ли там что-то, кроме застывшего кадра из чёрно-белых фильмов?

Но то, что я чувствовал, не могло быть просто влечением. Она была для меня словно картиной, под верхним слоем которой скрываются старые, тайные знаки.

Хлоя не понравилась бы большинству, потому что не старалась этого делать. По молчаливому уговору нам более всего симпатичны те люди, которые демонстрируют свою заинтересованность в нас.

– Ты живешь один? – перевела вдруг она взгляд со своей чашки на меня. Прямой, голубой до ломоты в висках, ее

взгляд был подобно внезапной остановке поезда.

– Да, – чуть помедлив, ответил я.

– А где твои родители?

– Ешь свою булочку.

Но ее глаза не оставляли мне шанса промолчать. Я смотрел на переносицу девушки, чтобы не поймать ее взгляд. Странно, но под его прицелом я не испытывал никакого стеснения, которое в обществе посторонних обычно заставляет меня напрячься и втайне мечтать поскорее остаться наедине с собой. Разговаривать с ней, не смотря на то, что я знал ее только как соглядатай, было все равно что... раздеться, когда на тебя смотрит кошка – по крайней мере, нестыдно. Я чувствовал, что могу рассказать ей многое, во всяком случае, больше, чем другим (мой внутренний собеседник тут же не преминул кольнуть: «Ну да, чуть больше, чем ничего»), и она, подобно ребенку, не будет делать глубоких выводов или выдавать мои секреты.

Я затаился глубоким вдохом, задержал дыхание, так долго, чтобы можно было словно забыть о наполнившем легкие дыме.

Мать оставила нас, когда мне было шестнадцать, а брату четырнадцать. Они с отцом, которого я помню лишь смутно, были геологами. Сейчас об этом напоминали только привезенные образцы минералов, сахарно поблескивающие на стеллажах нашей всегда полутёмной квартиры. Эти камни стали теперь мохнатыми от пыли, так давно я их не проти-

рал. Хорошо было бы положить их все в ванну и полить из душа, но я никогда не делал этого. Со смешным суеверным ужасом я понимал, что они могут тут же начать оседать и безвозвратно таять, как большие куски мутного сахара и грязноватой соли. Мама любила походы, картошку прямо из костра, любила играть на гитаре и пыталась учить меня. Гитару продал брат почти сразу после ухода матери, когда ему в очередной раз не хватило денег на выпивку. Лучше всего я почему-то помню мамины покрасневшие пальцы, которыми она мыла котелок в ручье, не странно ли?

Она ушла поздно вечером, когда брат еще не вернулся домой с гулянки, а я ворочался в постели и не мог заснуть. Из-за неплотно затворенной двери я видел, как она торопливо набрасывает на плечи пальто, оценивающе глядит на себя в зеркало.

Не взяла с собой ничего, даже зубная щетка осталась сиротливо стоять в своем стаканчике.

На верхней полке ее шкафа, которая и сегодня выглядит в точности так, будто мать только что вышла за хлебом, я с неким удовлетворением, как генерал заслуженных бойцов, узнаю прозрачные, оставленные из жалости почти пустые флаконы духов, тёмно-гранатовые баночки с монолитно ссохшимся лаком, гребень с двумя светлыми волосами в нем, нитку жемчуга, посеревший платок.

Прежде чем она успевает спросить «Почему?» или «Ты по ней скучаешь?», я будто уже начал слышать комариный

зуд хора жалобных голосов: «Бедняжка, а ведь это всё, что напоминает ему о маме». Но мне совсем не хочется уткнуться в подол этим бестелесным плакальщикам, ведь мне давно не жаль, что это произошло, ведь я никогда не был близок с ней, разве что, когда мы с братом были совсем детьми.

Было ли мне вообще когда-нибудь жаль? У меня нет желания разбираться в этом, хотя, возможно, это потому, что я все-таки страшусь, что острый безжалостный коготок осознания разорвет тонкую оболочку, которой покрыты мои нежелательные воспоминания и догадки. Да, мысленно я представлял их себе в виде громоздких сервантов и мощных кресел, стоящих аккуратно обернутыми чехлами в давно покинутом хозяевами доме. Может, они ждут, когда к ним вернуться и будут опять в них сидеть, снова расставлять на полках чашки?

Мама была довольно строгой. Ее мгновенные вспышки раздражения и гнева, которые я ребенком не мог предугадать, пугали и всякий раз осаживали меня. Елисей, может, потому, что был младше, реагировал на них с хитрой улыбкой, и они нисколько его не задевали. Она многое запрещала нам, что всякий раз вызывало наш праведный гнев, но что в итоге не помешало нам стать такими, какими мы есть. Я вижу ее очень явственно, в том маленьком отрезке воспоминания, которое по неизвестной причине особенно четко сохранила моя память: она, склонившись над кухонной раковиной, энергично моет невидимую мне посуду. На её плече

– влажное махровое полотенце. Сбоку, обхватив её талию пухлыми ножками, за нее уцепился младенец-Елисей, а она бережно и крепко придерживает его свободной рукой. Мне и самому-то, наблюдающему все снизу, всего года четыре. Вот такой – простой, теплой, домашней, всегда занятой чем-то (из-за чего я, к несчастью, плохо запомнил ее лицо, скорее весь мамин образ), она была. «Она есть, – повторил, перебивая, внутренний голос. – ЕСТЬ, а не БЫЛА». Ну хорошо, хорошо, есть. Конечно, я должен так думать. Я просто сказал так, потому что это время – боже, а ведь мы были детьми двадцать лет назад!, – уже безвозвратно прошло. Когда я смотрел на фотографию себя самого в детстве, то понимал, что испытываю легкую печаль по этому ребенку, которого в каком-то смысле давно нет на свете. Его место медленно, но непреклонно занимал долговязый угрюмый парень, который избегает смотреть людям в глаза, потому что уже уверился – ничего хорошего в них нет. И сейчас вы не увидите меня на тех глупых летних снимках, где все довольные лежат у моря на полотенце.

Мама любила, к нашему стыду, вспоминать, как мы с братом появились на свет. Например, что я родился с открытыми глазами и никак не хотел делать первый вдох, как ни шлепал меня врач. Елисей же, наоборот, плакал и кричал постоянно, из-за чего шутили, что из него выйдет певец.

Маме также очень нравилось рассказывать обо мне маленьком, что, когда другие дети увлеченно играли в песочни-

це, я всегда ходил вокруг, рядом, зная, что надо заговорить, надо как-то познакомиться и подружиться. Возможно, тогда еще мне самому действительно хотелось это сделать, не потому, что так было нужно, так человек должен действовать, чтобы быть нормальным. Но я не мог. Я просто ждал, что меня возьмут в игру, но этого не происходило. Вдруг вспомнив все это так живо, уже не зная толком, то ли я действительно это запомнил, то ли воссоздал по маминым рассказам, я понял – ничего, в сущности, не изменилось. Став взрослым, высоким парнем довольно угрюмого вида, я внутренне оставался все таким же нерешительным ребенком, которого стыдит и раздражает собственная трусость, и который так же завистливо наблюдает со стороны за жизнью других людей в надежде, что кто-то пригласит его присоединиться к ней. Стать, наконец, ее полноправным участником.

Ничего из этой исповеди, которая, возможно, вызвала бы у нее какое-то сочувствие ко мне, я не сказал вслух. Я докурил сигарету, растягивая вдохи, и бросил ее в стоящую рядом старую банку от томатного супа. Хлоя доела угощение и сейчас сидела на старом диване, покрытом овечьей шкурой, подобрав под себя ноги, двумя руками сжимая дымящуюся кружку чая. Взгляд ее скользнул по моему пыльному подоконнику, стоящей на нем кастрюле с подпаленным боком, вазону с умершим цветком. Было еще очень рано и странно тихо от этой наступившей без неумолчного рева машин тишины. По карнизу соседнего дома крался жирный рыжий

кот, не отводя жадного взгляда от отвернувшегося флегматичного голубя. Она заметила рядом с собой книгу, лежащую обложкой вверх, которую я рассеянно оставил на кухне. Томик был затрепанный, синий с серебряными, полустертыми буквами – «Дафнис и Хлоя».

– Прямо как я! Кто они?

– Пастух и пастушка, которые очень друг друга любили. Сначала они думали, что приходятся друг другу братом и сестрой. Их растили вместе.

Она быстро допила чай, хотя он еще дымился, поставила чашку с налипшими на дне чайниками на стол. Одна из них родинкой пристала чуть выше верхней губы. Я молча потер у себя это место, и она машинально тоже дотронулась до своей кожи, убрав досадный кусочек.

Потом она сказала, что ей пора. Я проводил ее в вечно полутёмную прихожую, где она нашла на вешалке свое маленькое чёрное пальто, набросила на плечи и попросила открыть дверной замок:

– Мне нужно спешить, а то Трикстер рассердится.

Тут я заметил, как из-под запертой двери в комнату, слепо шаря, высунулась рука. Боже, сейчас совершенно не время! Краем домашней туфли, чтобы не сделать больно, я подтолкнул ее обратно за порог.

– Подожди, мы еще увидимся? – быстро спросил я ее.

Она помедлила на пороге и промолвила:

– До свидания, – точно мы вправду были друзьями и она

просто заходила ко мне в гости на чашку чая, как будто оно возможно, это «свидание».

– Позволь мне хотя бы проводить тебя.

– Не нужно, Джад меня встретит.

– Послушай, если они надоели тебе, я могу...

– Ты даже не знаешь, о чем говоришь, – прервала меня она и грустно улыбнулась.

«Да уж, – с ехидцей промолвил голос, – Марс ввязался в это, и что с ним теперь? Не очень-то было похоже на розыгрыш».

Белая растрескавшаяся дверь моего дома с гулким стуком, отраженным всеми лестничными пролетами, закрылась за ее спиной.

– Хлоя! Подожди! – Я выбежал за ней в темный коридор, – как мне найти тебя?

Быстро сбегая вниз по лестнице, девушка бросила, обернувшись:

– Сама тебя найду, когда будет нужно.

Я поспешил было за ней, но на лестнице уже не слышно было шагов. Должно быть, она свернула в небольшой переход, соединяющий две части дома, наша была более старой.

Я вернулся в дом. Было тихо, слышно только, как изредка капля воды срывалась с протекающего в кухне крана. Я подошел к запертой двери – тишина. На всякий случай спросил:

– Ты в порядке? Елисей? – конечно, мне не ответили.



– Извини, – тихо сказал я дверному замку. Из-за двери по-прежнему не раздавалось ни звука.

Тут я понял, что мне тяжело стоять от слабости. Все-таки я совершенно не сомкнул глаз сегодня, разве что поспал некоторое время, когда сидел в кресле напротив Хлои, но я был неуверен, спал ли, или бредил наяву, вглядываясь в ее лицо – слишком уж трудно после этой странной ночи было отличить, где сон, а где реальность. Голова гудела, есть не хотелось, от утренней сигареты тошнило. На работу мне, к счастью, нужно было возвращаться только вечером, поэтому я направился в свою комнату и лег в постель.

## Глава 3

Джанвантари опустил руки в прохладную муку. Запрокинув голову, прикрыв глаза, он чувствовал под своими пальцами этот легчайший драгоценный песок. Он опустил руку в самую середину мешка, прислонившегося к теплому боку печи, и сжал ладонь, а затем извлек ее. Белый порошок покрывал его голубоватую кожу. Он разжал кулак, позволяя муке просочиться обратно воздушной струйкой, и она тут же развеялась в тёмном воздухе вокруг него, осев на его плечах и груди. «Нельзя так расточать драгоценный материал», – спохватился Джанвантари. – «Ведь ты тратишь саму жизнь».

Следовало поспешить. Он поднял с пола тяжелый и приятно шершавый глиняный кувшин, наполненный холодной и тёмной водой. Он любовно набрал полные горсти белой муки и в больших ночвах смешал ее с драгоценной влагой – и так зародилась хлябь и твердь, выпренно записал бы летописец, случись ему стоять в этот миг за плечом взволнованного знахаря. Но он был совершенно один в тёмном воздухе, напоенном сытным запахом теста и горячим дыханием огня. Джанвантари готовил смесь своими чуткими руками лекаря, оставляя в будущем хлебе словно частичку своего духа.

Он чувствовал, однако, сколь многого еще недостает вязкому сероватому тесту, зарождавшемуся в полумраке его дома. Джанвантари желал добавить туда также золотого сока

солнечных цветов, вечно поворачивающих головы за своим богом, как же хотелось ему придать своему творению сладость при помощи сахарного тростника, что растет у берегов реки. Но увы, он был бессилен – только перемолотые зерна да воду и удалось добыть ему, оставшись незамеченным для демонов, шнырявших повсюду и непрестанно следящих за ним. Джанвантари оставалось только надеяться на то, что он успеет сделать все, как задумывал, скрываясь в своей обители, где сушились целебные травы у ярких огненных уст печи. Она уже ждала бледное тело хлеба, которое Джанвантари уже возложил на круглое блюдо, чтобы закалить его и дать ему цвет, окончательно вдохнуть в него жизнь.

Джанвантари, затаив дыхание, вытащил хлеб из печи своими голыми руками-лотосами, ведь им не страшен был ее жар.

Мир простирался перед его взором широкой полусферой в коричневых трещинах. Джанвантари знал, что под этой коркой он еще очень мягок, неустойчив. Еще жил в теле этого хлеба животворящий эфир – адский жар первородной печи, из которой вышел и целительный, очищающий огонь. Эта дышащая янтарным огнем печь вместе со здоровым раскаленным воздухом была небом, а поднимающаяся от его жара и обретающая форму хлебная голова – твердью.

Мир был нов и свеж, и от него шел божественно ароматный пар. Джанвантари, склонившись над делом своих рук, вдохнул этот дух полной грудью и улыбнулся – это было пер-

вое воскурение в его честь. Глина, – подумалось ему, – это грязный материал – по сути своей песок и тлен. Он не был богом, пока никого не создал. Люди, решил он, тоже должны быть сделаны из хлеба.

\* \* \*

Очнувшись от дремы, я с тревожной досадой почувствовал, что, по мере того, как отступала бездумная расслабленность сна, меня стало неприятно знобить. Коснувшись лба рукой, я ощутил, как тот необычно и неприятно горяч. «Я просто заболел... почти не спал, и еще эта сумасшедшая ночь! Может, и не было ничего этого, и я просто провалялся всё это время в жару»? Но тут мой взгляд упал на собственное запястье – на нем, смазанная, почти уже невидимая, светилась трикстерова печать. Я тихо охнул и снова закрыл глаза. Если на мне всё-таки поставили клеймо, дающее право бесплатно пойти на вечер гибельных развлечений, значит, всё это не приснилось. И Марс... может, сходить туда еще раз?.. И что, посмотреть на грязевые борозды, сделанные мертвым телом в ковре из прелых листьев? Бессознательно понюхать воздух – не осталось ли в нем терпко-свежего запаха Хлои, доставшейся ему, как подарок, который он не сумел сохранить. Хлоя – значит свежая, как зелень. Где же теперь ее искать, снова на площади? Я явственно понял, что троица странных музыкантов никогда больше не встанут на мокрую, будто вылизанную гигантским языком брусчат-

ку, потому что Марса уже нет, а Джад охраняет Хлою и вряд ли даст ей снова прийти к нему, Асфоделю, даже если бы она и хотела этого.

Лежа на боку, я почувствовал движение и мягкий стук по полу – в комнате был кто-то еще! Тут же последовал довольно сильный толчок, от неожиданности я вздрогнул: низко, прямо перед моим лицом возникли два пятна, которые тут же стали распахнутыми голубыми глазами.

– Не ожидал? – с ехидной улыбкой сказал Елисей. – Он как-то открыл дверь моей комнаты и подполз ко мне, и сейчас, чтобы заглянуть мне в глаза, привстал, опираясь на руки. Я быстро отвел взгляд.

– Как ты открыл замок?

– Не открыл, а сломал, к твоему несчастью, братец. Боже, как хочется пожрать чего-нибудь!

– Я принес хлеба и пирог. А почему ты не в коляске?

– Упал, когда пытался в нее пересесть.

– Пойдем, – господи, подумал я, ну и сморозил! – Будем мыться и завтракать.

– Не строй из себя сиделку. Мне пришлось играть в чертового шпиона, чтобы ты ко мне снизошел.

– Просто вчера был очень трудный день, Лис. Прости.

– Что, скалка была тяжелее обычного? Не верю, что ты до часу ночи был на работе, не настолько ты ее любишь.

– Мне пришлось сходить по одному важному делу.

Я уже видел на его лице знакомое выражение – как будто

он надкусил очень кислое яблоко.

– Да, несомненно, по очень важному. Я это дело видел в замочную скважину.

– Так, прекрати.

– Это всё, чем я последнее время занимаюсь – прекращаю.

Он опустился на пол, положил голову на сложенные руки.

– От тебя воняет табаком как от полка солдат. Боже, я становлюсь похожим на глупую жену, надувшуюся на мужа за то, что он пришел домой под утро. Вот только жен редко когда запирают в комнате без еды.

– Извини меня, я не думал, что приду так поздно. Мне нужно было кое-что обязательно выяснить. Ведь ты же понимаешь, что я тебя запираю не для собственного удовольствия.

Позже Елисей попросил съездить с ним на прогулку, и я не смог отказать.

Когда я переносил брата на руках по лестнице (коляску снести одному было невозможно), несколько ребят у подъезда начали перешептываться, смеяться, а один бросил:

– О, смотрите, вечная любовь. Это твоя девчонка?

Я надеялся, что брат не услышит этих придурков, но Елисей очень четким и спокойным голосом произнес:

– Не улыбайся так широко, с детства лошадей боюсь.

Один из парней, тот, что первым подал голос, двинулся к нам.

«Не суйся, подумай о Лисе!», – очень громко сказал мой

внутренний голос, но мне было уже не до него. Посадив Елисея в коляску, я быстро подошел к парню, стиснул его руку выше локтя и, глянув в его водянистые глаза, прошептал на ухо:

– Ты умрешь очень скоро.

– Чё?!

– Заткнись и слушай: у тебя в комнате отходит половица, об которую ты часто спотыкаешься, но все забываешь прибить, даже после нашего разговора этого не сделаешь. Через неделю ты в очередной раз зацепишься об нее ногой и упадешь, ударившись о край стола. Очень сильно ударившись. Ты потеряешь много крови, но никто не придет тебе помочь. Только твоя кошка, старая и рыжая, будет лакать из большой красной лужи вокруг твоей головы.

Я отпустил его руку. Он недоверчиво покосился на меня, но с его лица все же пропало самодовольное тупое выражение, за которое я бы с удовольствием начистил ему физиономию. Думаю, его все же проняло то, что я специально упомянул те детали, о которых знать не мог и придумать тоже вряд ли. Надо держать себя в руках и не выдать!

– Какой-то псих. Пошли, ребята.

«Ребята» бросили на асфальт окурки и, снявшись со своего насеста, не спеша стали удаляться. Двое других смерили меня напоследок взглядом. Я избегал смотреть им в глаза, не по той причине, что они думали – просто не хотел увидеть еще несколько смертей, таких же бездарных, как их жиз-

ни. Зато Елисей не поскупился на свой фирменный взгляд: смесь безразличия с презрением многолетней выдержки.

– Что ты сказал этому уродцу?

– Так, очертил перспективы.

Он усмехнулся.

Кажется, потом все шло хорошо, пока Елисей не отъехал немного вперед, там, где начинался крутой спуск, и внезапно отпустил колеса инвалидного кресла. Я только успел увидеть, как коляска медленно, как в кошмаре, катится вниз. Я бежал к нему так быстро, как только мог. Тележка врезалась в дерево и упала набок. Брат лежал на земле ничком.

– Сильно ушибся?

– Только ноги ударил. Они не болят, как ты понимаешь.

Когда мы пришли домой, я отнес его, хмурого, в его зашторенную комнату. Было такое время, когда через занавески пробивался яркий свет заходящего солнца, и вся комната казалась наполненной желтым свечением.

Я осторожно положил Елисея на кровать. Он старался казаться безучастным.

– Я хочу осмотреть твою ногу.

– Мне тоже много чего хочется.

– Наверняка там кровь, прилипнет к штанам изнутри.

– Ладно, – равнодушно отозвался он.

Я по очереди закатал его штанины до колен. На правом была небольшая ссадина. Я взял из кухонной аптечки йод и вату. Чуть было не сказал, как обычно говорят, «сейчас буде



немного жечь». Это как раз было бы отлично.

Я помог Елисею сесть в коляску и отвез его на кухню. Помню день, когда я привез эту блестящую громоздкую вещь из магазина (ни у него, ни у меня не поворачивался язык назвать ее как нужно – инвалидное кресло). Помню, хотя с радостью бы забыл, как оно, сверкающее железом, с отдельными подножками, нелепо напоминающими велосипедные педали, гордо и безнадежно стало в нашей тесной прихожей, и выглядело там так же к месту, как могла бы выглядеть железная дева. Елисей, еще слабый, скованный болью и обездвиженностью, когда я вынес его из спальни и постарался усадить на тумбу, недоверчиво дотронулся тогда до обрешиненного обода и прочитал на спинке название коляски: «Миллениум». «Да уж, миллион лет в заднице – вот что это значит», – невесело съязвил он.

Мать дала нам поэтические имена – Асфодель и Елисей, чтобы сделать нас непохожими на других. И, видит бог, ей это удалось. И если братово имя людям хотя бы что-то говорило – помню, как в детской поликлинике все тетушки умиленно называли его Королевичем, что невероятно шло белокурому мальчику, то ответом на мое имя часто было только недоуменное молчание – и я до сих пор его за это не люблю. Только много позже, когда среди нас, подростков, стало принято выдумывать себе необычную кличку, под которой тебя знают в компании, наши имена принимали как должное, не подозревая о том, что они настоящие.

Елисей с детства был красив полногубой и светлокудрой женской красотой, и ненавидел ее так же сильно, как ненавидит себя в зеркале скособоченный урод. Как же он злился, когда у него, еще пятилетнего, друга мамы с настойчивой взрослой тупостью умильно спрашивали: «А что это у нас за очаровательная девочка?». Он сводил светлые брови в одну линию, смотрел на них ненавидящим взглядом и надувал губы так забавно, что я невольно тоже начинал подсмеиваться и злил этим брата еще сильнее. Легче ему стало только тогда, когда он узнал о существовании мата, да и то не на много. Меня-то, долговязого парня, никому бы и в голову не пришло назвать девчонкой.

Думаю, Елисей был гораздо умнее меня – так естественно богата и наполнена неувимой поэзией и легкостью была его речь, даже когда он начал сдабривать ее ругательствами. Лет в 15 он сам научился играть на гитаре, пел известные рок-баллады, из-за чего был незаменим в компаниях, потом сочинил много своих. Но с тех пор, как с ним случилось несчастье, он ни разу не взял в руки гитару, даже не надел на нее чехол. Она так и стояла, запыленная, с той самой ночи, когда он не пришел домой ночевать не потому, что остался у друзей.

Он никогда не выказывал склонности учиться чему-то определенному, настоящему делу, которое могло его кормить, и не признавал таким ни игру, ни рисование, которое тоже освоил чрезвычайно легко. Стоило ему взять в руки ка-

рандаш и обрывок бумаги, как на нем появлялся отточенный абрис: кошка запрыгивает в окно, мать, перебирающая ягоды... Портреты ему всегда удавалось выполнить с удивительным сходством. Думаю, в его нежелании заниматься чем-либо, чем просто физически существовать, подобно всякой живой твари, отчасти виноват я. Когда рядом не было больше взрослых, я не стал для него старшим, хотя был таким по возрасту. Я хотел, чтобы он уважал меня, прислушивался к моему мнению, боялся моего порицания... Я познакомил его с Алленби, когда сам стал с ним близко общаться, и Елисей из вежливости несколько раз приходил к нему в пекарню и домой. Не знаю, о чем они говорили. Вероятно, Алленби хотел дать ему работу, или зачитывал по своему обыкновению отрывки из своих любимых книг. Представляю, как Елисей в этот момент смотрел в окно и думал совершенно о другом. Он, казалось, вообще не понимал, зачем ему нужно водить знакомство с Алленби, который казался ему стариком. Просто брат отличался от меня и внешне, и внутренне, и никогда не нуждался в том, чтобы его направляли, делай это я или кто-нибудь другой. Во всяком случае, так я себя утешал. Но кто знает, как бы все обернулось, если бы нашелся человек, способный привить ему интерес к чему-то, как я хотел, важному.

Елисей не мог ходить уже два года. Постоянно подтягиваясь на руках на кровать и толкая ими колеса, он невольно накачал плечи, а его и без того узкие бедра еще более иста-

яли, но удивительно – даже эта болезнь делала его тело мужественно красивым.

Он продолжал относиться ко мне только как к товарищу по детским играм, затем – по играм подростков, в которых я тоже принимал участие, с тех пор как мать больше не жила с нами. Свобода вскружила нам головы, ведь препятствием для нас и наших затей были только мы сами. В 16 многие наши друзья в одиннадцать вечера говорили: «Нам пора идти, нас ждут...». Меня же с братом не ждал никто. Наша вечно пустая квартира, рай для ищущих недозволенного подростков, о которой быстро узнали наши товарищи и их друзья, стала местом непрерывного гуляния, вечного праздника жизни в облаках дыма и с батареей бутылок портвейна и кислого яблочного вина на столе. Что-то странное шевелится на дне моей души, когда я думаю о том, сколько людей потеряли невинность на наших с Елисеем кроватях, в крутящейся от выпитого прокуренной темноте наших комнат, в то время как на кухне, сидя на полу, остальные пили до последней капли, и кидали пустые бутылки прямо с балкона в бак, и горланили одни и те же песни сутки напролет. Елисей, крутя на пальце колечко от пивной банки, проводит вновь прибывшим экскурсию: «Конечно, можно курить прямо здесь, я так делаю, даже Дель так делает!! А здесь у нас место, где господа и дамы могут блевануть, если им заблагорассудится!» Только материну спальню я, чудом не потеряв каких-то остатков приличия, запер на ключ, спрятал

его и никогда не пускал туда посторонних, даже когда людей было больше, чем могло поместиться на кроватях. «Ложитесь штабелями, граждане, решим демографический вопрос!», весело кричит Елисей, аккуратно перешагивая с бутылкой пива в руке разлегшиеся на полу в изнеможении тела. Под большим белым камнем на полке в коридоре я нашел крупную сумму денег, которая, как я понял, предназначалась мамой нам «на первое время». У меняхватило ума заплатить за квартиру на несколько месяцев вперед, а остальное мы очень весело принялись тратить, не заботясь ни о заполненности холодильника, ни о новой одежде.

В своем царстве безграничной свободы мы были королями и пожинали свои законные плоды. Те бесшабашные, счастливые дни, которые теперь невозможно вспомнить без тайной мысли вроде «боже, и это все было со мной? И это я считал нормальным?», неизменно вызывают у меня в голове образ Дианы. Все, чем обычно недовольны девушки, у нее было как надо: пышные кудрявые волосы (от природы пшеничные, она и ее подруга красили их в одинаково желанный тогда для всех среди нас, парней и девушек, цвет «воронова крыла»), тонкая талия, маленькая ножка, белая, гладкая кожа. Я познакомился с ней, когда она перешла учиться к нам в школу, в параллельный одиннадцатый класс. Она никогда не носила школьную форму, ей, вероятно, были смешны выговоры по этому поводу. На ней были гриндерсы и вязаные свитера-гранж, или нарочитая, с крахмальным передничком

форма, которая теперь вызывала у меня ассоциации с костюмом для известного рода игр. Казалась усталой, опытной женщиной, а ведь ей не было тогда и семнадцати. Возможно, этим она меня и заинтересовала, ведь я всегда имел слабость к необычным людям. Однако до сих пор не могу усвоить, что опыт и мудрость могут никогда не встречаться вместе. Она никогда не кичилась своей «субкультурностью». «Когда я переехала сюда, у меня был прокол нос, брови. Я пришла сюда прямо в таком виде, а она сказала – сними это все... И я сняла, – спокойно рассказала она как-то, в одну из первых наших встреч без всякого пренебрежения, с помощью которого обычные люди только и могут возвыситься над теми, кто сильнее их. Но за всем этим чувствовался надлом. Например, когда я говорил ей, что поссорился с матерью, она улыбалась чуть снисходительно: «А я с родителями не ссорюсь. И не мирюсь». К тому времени я уже знал, что им просто на нее наплевать. Вот, должно быть, почему она делала все это – сигарета за сигаретой, молоко с травой, портвейн... не на кого оглядываться. Незачем себя беречь, потому что не чувствуешь себя нужной – это было уже не нашим баловством с сигаретой и запретной бутылкой пива после школы. Не знаю, прав ли я в своих выводах, возможно, они бы ее рассмешили. Она мне казалась человеком готики, но при этом – слабым и несчастным существом. Не знаю, что с ней сейчас, решила ли закончить эту игру в жизнь, или живет где-то, наверняка с новым мужчиной, который непременно гораздо

старше меня и, возможно, лучше. Если это так, думаю, он обходится с нею примерно как опытный, уверенный в себе врач-психиатр, а она умело, привычно разыгрывает из себя умную, но разбитую жизнью жертву, и в итоге все более-менее счастливы.

Не хочется только думать, что она спилась и опустилась, клянчит сигареты щербатым ртом в каком-нибудь мерзком переходе, и прохожие, спеша мимо, старательно напускают на себя безразличный вид. Лучше уж, как по мне, классическая ванна и бритва, о которой редко кто из нас не задумывался в шестнадцать лет, потому что это тоже казалось нам игрой. Страшной, веселой игрой, как на Хеллоуин.

Она говорила, что ее не станет в 26, либо в 28. Когда тебе столько лет, сколько было нам, оставшийся до этого времени срок кажется вечностью. Я был незрелой еще грушей, я стеснялся самого себя, и все чувства у меня были тогда тоже стыдливо свернуты в тугой бутон.

Взрослая, раскованная, прекрасная в своем коконе постоянной разбитости – конечно, Елисея тоже тянуло к Диане. Стоит ли добавлять что-либо ещё? Красивый, дерзкий как с выпивкой, так и без, он, разумеется, тоже нравился ей, несмотря на то, что был ее на два года младше, огромная тогда пропасть. Но виду она не подавала.

Диана, как нарочно обмолвилась ее подруга, уже не могла иметь детей. Впрочем, вряд ли она их хотела – такие люди слишком погружены в себя и свои переживания, чтобы рас-

пыляться на кого-то еще. Все они – все мы – были влюблены тогда в свою жизнь, но при этом, удивительно, нисколько не дорожили ею. Ведь заниматься собой кажется таким приятным, таким естественным. Мы сами, как дети, жили, только начиная узнавать мир и свое место в нем, а зачем детям – дети?

«Живи быстро, умри молодым», – какой правильной и чертовски заманчивой была для нас эта фраза. Еще бы, ведь с ней ты всегда самый младший. Всегда самый молодой. Всегда последний на очереди в иной мир.

«Ну да, и после всего этого ты хочешь сказать, что Хлоя, которая явно вызывает в тебе такой же трепет, не имеет к Диане совершенно никакого отношения?», – тут же вклинился внутренний голос, точно выжидавший, когда можно будет вставить, наконец, свой едкий комментарий.

«А если даже имеет. И что с того? Многим нравятся девушки одного типа.

«Что именно привлекает тебя в них?» – Я чувствовал – и у Дианы, и у Хлои внутри будто светился болотный огонек.

«Все это дешевая романтика. Диана, по крайней мере, была хотя бы какой-то более... настоящей», – заключил голос.

«Как тебе кажется – не может ли быть так, что некоторые люди, появляющиеся в нашей жизни, только подготавливают нас к следующим? Или к чему-то, что должно с нами случиться?» – именно это украдкой думал я по поводу Хлои. «Эй?..» – но голос молчал. Однако я и без того знал, что он



посчитает это слюнтяйством. Говорят, свою первую любовь невозможно забыть. Но мне казалось, что я смог, и даже радовался этому. Возможно, мужчинам это проще сделать, чем женщинам. Диану в моих глазах не окружал идиллический флер, заставляющий порой девушек вздыхать по своим бывшим возлюбленным, несмотря даже на то, что они, уже очевидно, не оправдали этого благородного слова. Я не идеализировал Диану, и в этом было моё спасение. Даже наоборот, вспоминая её теперь, я не мог отделаться от неловкого чувства перед самим собой, которое зудело что-то вроде: «Парень, ты что, и вправду думал, что это возможно – ты и она? Что это – то самое?..»

«Конечно, ведь тебя на самом деле никто не устраивает, ты только и можешь, что причитать – “у меня нет друзей”, не обращая внимания на тех, кто рядом с тобой, – снова встрял голос. – А откуда они появятся, если ты только и ждешь, чтобы тебе позвонили, с тобой встретились, тебя развлекли? Ты забываешь, что дружба – это такая же тяжелая работа, как и быть пекарем. Ты должен интересоваться твоими друзьями, всегда быть рядом, когда им плохо, даже когда они об этом не просят. Особенно если не просят. Что ты сделал, например, когда Диана маялась во мрачном угаре от конопля, сваренной в молоке? Тебе нужно было найти ее, где бы она ни была, в каком бы вонючем клубе или чьей-то грязной квартире ни лежала на полу, ворваться туда и забрать к себе, сказать, что все будет хорошо, что у нее есть кто-то, кому не

все равно, что с ней. Что ты бы плакал, узнав о ее смерти, но никогда бы ее не допустил, и прочие глупые фразы прямо из середины сердца, которые пришли бы тогда в твою голову. Ты сделал хоть что-то из этого? Нет, ты просто подивился, что люди такими разными способами сводят с собой счеты, да и забыл о ней».

У Елисея же был особый подход к девушкам, которые, казалось, льнули бы к нему, даже если бы он был глухонемым. Он любил делиться со мной своими наблюдениями, «просвещать меня», как он сам с улыбкой выражался: «Им нравится, когда ты показываешь им, что такой же, как они. Не спеши переходить к тому, зачем она, собственно, тебе нужна. Полежи с ней рядом и покажи, что это последнее, чем заняты твои мысли, кроме, конечно, ее бессмертной души. И все, с этого момента она намертво прилипает к тебе. Удивительно, как все на самом деле просто». Он давал им ложную надежду, мой ангельски лицемерный брат. Елисей легко и с наслаждением играл на человеческой вере в то, что красивый человек должен быть обязательно и добрым. Может быть, он мстил девушкам за то, что раньше они не считали его в полной мере мужественным? «Нет, отметем эту чушь, ты слишком увлекся этим скандальным немецким психоанализом, который подсунул тебе Алленби».

После несчастного случая что-то во мне словно перевернулось. Умерло, как любят писать в романах. С тех самых пор, как я забрал Елисея домой из больницы, никто из на-

ших близких друзей не переступил порог нашего дома. Меня вдруг стала поражать и необычайно выводить из себя их тупость – к лежащему больному они упрямо продолжали идти, захватив только вино и сигареты. Не буду говорить о том, что они, так часто и без всякой платы пользовавшиеся нашими холодильником, спальней, ванной – ни словом не выражали готовность чем-либо помочь ни Елисею, ни мне. Но я и не просил. Что возьмешь с людей, у которых в возрасте под 20 лет в кармане пара десятков на сигареты и проезд? Но они продолжали приходить, их смех, шутки и глупые песни я слышал, еще когда они были на первом этаже нашего дома, и это выводило меня из себя. Они начинали стучать в дверь (звонок был давно сломан) – я не открывал, ведь уже объяснил, что Елисей очень плохо спит и его нельзя тревожить, особенно вечером. Но затем в дверь начинали стучать ногами. Бывало, я не выдерживал, рывком открывал ее и размаху, с наслаждением бил в лицо имевшего неосторожность стоять ближе всех...

В комнате Елисея, слева у входа уже сто лет висел нарисованный плакат – увеличенная обложка первого альбома «The Doors», изображавшего лицо Джима Моррисона. Елисей говорил, что ему всегда почему-то очень нравилось маниакальное, какое-то в бесстрастном смысле тупое выражение красивого моррисонова лица, его глубоко посаженных глаз. Елисей, кажется, гордился, что немного на него похож, – не отдельными чертами – у него они были тонь-

ше – а каким-то общим образом: взъерошенными волосами, жестко очерченной линией ключиц. Плакат всегда висел обособленно от других его рисунков, веерами прикрепленных к стене. Поначалу он рисовал маленькие законченные сюжеты, четко выхваченные из белого листа размытые зарисовки мягким карандашом на разных обрывках или этикетках. После того, как он перестал ходить, рисование захватило его целиком, но изображения, также, как и он сам, словно потеряли свою цельность и стали только частями того, что он рисовал раньше. Теперь это были в основном разрозненные головы людей, руки, скрюченные фигуры, только наполовину вытащенные из белой бездны. Потом я как-то купил ему масляные краски и большие холсты на плоских подрамниках и с удовольствием заметил, что Елисей начал использовать их. Сначала, не зная, как добиться нужного оттенка, он писал яркими цветами прямо из тюбиков: желтый угол дома и кадка с засохшим цветком, уходящая вдаль булыжная мостовая маленького города.

Когда-то он даже нарисовал мамин портрет. При общем дилетантском виде этого рисунка ему удалось невероятно точно передать выражение лица мамы, ее вечно сосредоточенно-печальный взгляд. Когда мне случалось долго вглядеться в мамины глаза, я чувствовал, что задыхаюсь, просто не могу вдохнуть глубже. К счастью, я не видел никаких подробностей, которые могли бы подробней сказать о ее смерти. Но, по прошествии времени, я даже начал сожалеть, что,

обладая такой способностью, бессилён воспользоваться ею, чтобы найти мать или хотя бы понять, что с ней произошло.

Я поднялся, собираясь выйти из его комнаты.

– Постой! Пожалуйста, дай мне хотя бы пару сигарет.

Поколебавшись, я вытащил из заднего кармана полупустую пачку и положил две сигареты рядом с ним на тумбочку. Елисей нашарил на кровати зажигалку и сразу прикурил (это мне не понравилось – не хотел, чтобы он дымил в постели).

– Посиди еще немного, я и так все время один. Скоро начну со стенами разговаривать – только вот нарисую очередного собеседника. – Сигарета в его нетерпеливых губах потухла, и он снова принялся сосредоточенно чиркать старой зажигалкой перед лицом. – Последнее время я все время думаю, вспоминаю нашу прошлую жизнь. Времени у меня теперь много. Гораздо больше времени для безделья, чем мне когда-либо хотелось, и в голову лезет чушь всякая. Вот, например, недавно мне пришло в голову: я пошел в школу в 6 лет. У меня было пару товарищей, нескольких людей я ненавидел и дрался с ними – в общем, все как у всех. Когда мы повзрослели, то перестали просто сидеть рядом за партами. Нам хотелось приключений, мы познавали алкоголь, и это самая сладкая пора моей жизни – когда выпивка дарит только легкость и веселость. Никакого похмелья, тошноты и утренней головной боли благодаря нашему юно-

му неиспорченному телу мы не испытывали. Наоборот, после особо сильных возлияний я чувствовал невероятную... просветленность, что ли? У меня в голове не было ни одной обыкновенной мыслишки, из тех, что постоянно преследуют нас. Я вообще, казалось, ни о чем не думал, но не становился при этом дебилом, я просто чувствовал жизнь гораздо ярче – морозный воздух, свежий зимний поцелуй, запах хвои... Сигареты в нашей компании всегда покупал я, потому что казался старше своих лет. В 15 выглядел на 20, и так, наверно, буду смотреться и дальше, может, со временем только высохну, как дворняга. Но вот в чем дело: какой-то особой крепкой дружбы, первой любви, которая якобы должна запомниться на всю жизнь, у меня так никогда и не было. И меня не оставляет мысль: вдруг я поспешил и запрыгнул в другой вагон, не в тот, что предназначался мне, где было приготовлено все то, чего я вроде как заслуживаю? Мне кажется, мои настоящие верные друзья, моя чистая, такая светлая любовь, что от нее прямо тошно, прошли мимо меня из-за какой-то глупой случайности.

Он помолчал, взял из пепельницы изрядно истлевшую сигарету и, не стряхивая столбика пепла, медленно затянулся.

– Наверное, ты смеешься надо мной. На что может надеяться безнадежно больной человек, который ничего не хотел и теперь обижен, что ничего и не получил?

– Вот и подумай, чего ты все-таки хочешь. Тебе всего лишь 21. Обещай мне, что не будешь пытаться ничего с со-

бой сделать, пока меня не будет дома, – как мог мягко выговорил я.

– Почему?

– Постарайся ради меня. Ты должен прожить долгую жизнь.

– Должен? Кому – тебе?

– Мне просто так кажется. Хочешь воды?

– Хочу водки, официант, – мрачно бросил он и как-то брезгливо затянулся почти истлевшей сигаретой. В конце дым всегда больше горчит.

Я слушал Елисея и узнавал своего хорошо знакомого брата – давно, как мне казалось, утерянного, который был способен на откровенные мысли и странные чувства, и который больше напоминал мне меня самого, каким я бы был, неотшлифованным заботами Алленби, постоянным трудом и работой упрямого счетчика. Но сейчас, увы, передо мной был сегодняшней Елисей: маленькое, искалеченное подобие меня, которое все еще лелеет лакомую мысль о смерти, в глубине души не веря, что это навсегда – что внезапно его накроет бесконечный сон без сновидений, и весь мир тут же с некоторым облегчением забудет о спящем. Мне всегда казалось – верой в бессмертие души мы только тешим себя мыслью, будто наше я так исключительно, что ему просто не может быть отмерян столь короткий срок.

– Знаешь, – продолжал он свою странную неожиданную

исповедь, – мне двадцать один год, и я понял, что не могу назвать ни одного своего увлечения. Меня ничего не интересует, у меня в жизни не было и нет страсти к чему-либо, кроме выпивки.

– Ты пишешь полотна.

– Ха, «пишешь полотна»! Мазня, чтобы не свихнуться. Если бы ты не дал мне краски, я бы просто от скуки обмазывал стены соплями. Может, поэтому все так, как есть? Нет во мне «внутреннего стержня»? Да и что это вообще такое?

– Я думаю, ты просто не успел найти свою страсть.

– Знаешь, Дель, что самое страшное в жизни? Когда просыпаешься и понимаешь, что тебе уже никогда не начать жизнь с чистого листа, – он посмотрел на свои ноги. – Game over. А даже если и успеешь найти что-то стоящее, что-то настоящее, то, что придает твоему существованию смысл – просто уже не успеешь это сделать. В шестнадцать мне не хотелось жить от скуки, сейчас – потому что мне тошно жить. Если бы я тогдашний смог увидеть настоящего меня... может, это подтолкнуло бы меня к этому уже тогда? И ничего этого уже не было, а? – почти умоляюще спрашивал он меня.

А что я мог сказать? Мы расплатились за то, что жили бездумно, как будто смерти нет, и бед не существует.

– Елисей... еще ведь ничего не кончено. Давай, я помогу тебе лечь в постель.

– Нет уж, я сам.



В детстве у Елисея была одна любимая игра. После того, как мы смотрели очередной старый вестерн, который нам приносил отец, Елисей, изображая одного из героев, какого-нибудь Билла Кэссиди, проползал мимо моей комнаты, прижимая руку к телу, хрипел что-то вроде «все будет в порядке, брат», – потому что под ребром у него была пуля. Он никогда даже не делал вид, что умирает, как и взрослым не показывал виду, что ему плохо, когда проползал мимо моей комнаты, уже не играя: это была не пуля злобного бандита, просто жестокий и глупый случай, каких тысячи происходит по всему миру – прямо в эту секунду. Но он все еще упрямо цеплялся за пол руками, продолжая продвигаться вперед: «Все будет в порядке» – все будет...

Но, несмотря на все это, я верил – мой брат был одним из тех счастливчиков, ковбоев Мальборо, который смог вернуться из волшебной страны дурмана если не совершенно невредимым, то живым. И если есть в жизни есть смысл, то для меня он – лишь в спокойном понимании того, что твоим близким отмеряно чуть меньше страдания, чем всем остальным.

## Глава 4

Еще на прошлой неделе Алленби сказал мне, что сегодня перед работой я должен зайти на рынок – он поручал мне покупать ингредиенты, которые нельзя было заказать прямо в пекарню. Сладкий, тошнотворный запах смерти, которую парадоксальным образом можно купить и приготовить, щечкочет ноздри и против воли оседает на небе, где-то глубоко внутри. Мраморные, скользкие от мясного сока прилавки источают к тому же острый запах хлора.

Вот с открытыми глазами лежит огромная голова свиньи, на ее прозрачном ухе синий штамп, будто татуировка. Можно купить эту голову и положить в рюкзак. Но есть то, что на тебя смотрит, а не просто сочный кусок мяса – гораздо сложнее. Смешно, что даже здесь, в этом деловитом хозяйственном мирке меня со всех сторон окружала смерть – на этот раз будничная, которая по определению не должна вызывать эмоции. Вот лежат коричневые финики, и они больше всего напоминают мне мумифицированные пальцы святого, которые я когда-то ребенком увидел выглядывающими из расшитой золотом ризы. Но эта, здешняя смерть безыскусна, безопасна – к счастью, я был избавлен от необходимости видеть смерти животных – возможно, потому, что для них ее не существовало. В толпе, среди покупателей, толпящихся возле мясных туш, я заметил человека, удивительно

похожего на Трикстера, и, мне показалось, он тоже заметил меня и улыбнулся.

\* \* \*

– ...Привет, говорю! – окликает меня, поравнявшись и хлопая по плечу, худенькая девочка Лиза, – Я тебя еще на улице заметила, а ты идешь, как по струнке, никого не видишь! – со смехом отчитала меня она. Лиза была бродяжкой, ее жилье было где-то неподалеку, и она часто клянчила еду и сигареты у клиентов пекарни. Алленби это, разумеется, не нравилось, однако он часто закрывал на глаза на лизины проделки, а иногда даже выносил ей булочку и шутливо приговаривал: «Только никому не говори, что за красивые глазки у нас можно отовариться бесплатно». Я тоже иногда делился с ней завтраком. Ее судьба была похожа на нашу, и я внутренне был рад, что благодаря мне нам с братом удалось не скатиться до такого. Да, с Елисеем произошла беда, и это я был тому виной, но, в конце концов, несчастный случай может произойти с каждым, даже очень богатым человеком.

– «Не нужно смотреть ей в глаза, просто поверни голову и кивни», – очнулся и бесстрастно распорядился мой внутренний голос.

– А, привет, прости, трудная выдалась ночь, – сказал я в ее шутливом тоне. И на сей раз не соврал. Сейчас мне нужно было замечать каждого, но реагировать – ни за что, и происшествие с Елисеем это только подтвердило.

– Слышал, что Алленби пропал?

– Нет...

– Я вот жду его с утра, но его до сих пор нет.

– Может, поехал оплачивать какие-то счета?

– Я видела, как он разговаривал с мужчиной, тот был весь в татуировках.

– И с серьгами в бровях?

– Кажется, да.

– Ясно. Можешь пока подождать, а я посмотрю, что смогу для тебя раздобыть. – Этот трюкач уже пролез и сюда!

– Спасибо, Асфодель! – улыбнулась девочка, убегая.

Алленби, сколько я его знал, никогда не болел чем-то более серьезным, чем простуда, и даже тогда наведывался в пекарню, только не заходил в рабочие комнаты, где зрело тесто и нарезались продукты. Не вышел на работу? Так можно было сказать о любом другом – грузчике муки, о кассирах и кондитерах, но только не об Алленби, для которого пекарня была без преувеличения родным домом. Он приходил в свой кабинет даже по выходным, потому что работа не была ему в тягость, не досадной, ежедневной обязанностью, как для большинства здешних работников – это было его дело, которое он любил. Что касается меня, я не был настолько одержим своим делом, мне просто нравилось, как из мучного порошка, жирных бесформенных комков масла, сухого яичного экстракта и сахара – непривлекательной клейкой массы – рождалось не просто что-то законченное, цельное, а близ-

кое к идеалу – круглый, золотистый солнечный и ароматный хлеб. А еще я, если совсем уж честно, был одним из самых старательных работников, приходящих за полчаса до начала смены и уходящий поздно вечером, по одной простой и трусливой причине – мне было неприятно больше находиться дома.

Сейчас мне предстояла встреча с моими коллегами по пекарне, которые все словно сошли с одного конвейера убогих вещей. Они, особенно толстая кассирша и повариха, я чувствовал, всю обсуждают меня в своей беспардонной манере и с чувством собственной абсолютной правоты, не прекращая все так же приторно здороваться при встрече. Я почти слышу, как они разговаривают полупрошептом, стоя в подсобке с чашками кофе: «Ты заметила, что этот мальчишка никогда не смотрит в глаза? И тебе тоже? Как будто он презирает нас! Нет, наоборот, стыдится, ведь знает, что тепленькое местечко ему досталось только потому, что вовремя снюхался с Алленби. И почему Алленби так нравится этот мальчишка? Ты вообще знаешь, был ли он когда-нибудь женат? Нет? хи-хи, тогда все ясно. А ты слышала, что случилось с братом этого недоноска? Набрался как черт, и...» ...И вот я уже готов снова повидать свой обед, но... Отличаюсь ли я чем-то от них, убогий соглядатай, вечно измазанный мукой самоучка, которого Хлоя интересуют гораздо больше, чем вся прочая жизнь? К чему вообще он, этот мой нелепый интерес, болезненное внимание к деталям, к мельчайшим ее

движениям, не только к тому, куда она идет – но к ней самой, отстраненной, покачивающейся, но всегда с по-королевски прямой спиной? Гумберт, эта тень человека, уже все сказал до меня, хотя он, в отличие от меня, мог еще похвастать щемящей извращенностью вкусов.

Надевая на ходу фартук и белую повязку – чтобы волосы не лезли в глаза и, упаси бог, не падали в тесто, я смотрю сквозь большую витрину: люди, зажатые на белой полосе с двух сторон потоком автомобилей. Они стоят и выжидают, когда им можно будет кинуться в спасительную щель между бешено мчащимися машинами, которые вечно летят на всех парах, словно опаздывают в ад. А в пяти метрах от них на столбе висит выцветший похоронный венок, на котором фиолетовые лилии уже так же черны, как и пластмассовые листья. Но они не видят его, просто не хотят заметить. Ведь «со мной этого не случится». Конечно, с кем угодно, только не со мной.

Где-то раз в месяц по субботам мне выпадает несчастливый билет – дежурство в пекарне за кассой. Я говорил Алленби, что я лучше отработаю несколько суток подряд в своей комнатенке, спасительно отделенной тяжелой стальной дверью от внешнего мира, чем буду стоять за прилавком. Он считал меня просто странным парнем, у которого проблемы с общением. Я подкрепил его мнение, сказав, что у меня небольшое нервное расстройство, из-за которого я чувствую панику, находясь в толпе. Эта комната была практи-

чески моим домом, где я работал, обедал, глядел в окно на старый дворик и иногда выходил через складик покурить, и был счастлив, что был собакевичем этой маленькой республики, где все предметы – огромная печь, широкий деревянный стол, угловой стеллаж с приборами и посудой, маленький холодильник (для специй и сырых начинок, а также для моей еды, если я не забывал что-то купить для себя) – просты, тяжелы, надежны. Раньше я даже как-то не думал о том, что можно работать, за день едва один раз поговорив с кем-то, или просто молча столкнуться, когда выносишь готовый, еще горячий и до одури ароматный хлеб к большой каталке, откуда ее отвозит прямиком на прилавок тучная кассир, колыхая гигантскими бедрами, точно она сама – всего лишь не в меру разросшаяся опара.

Но случается так, что даже Алленби не в силах позволить мне сидеть в своей конуре – когда кто-то на раздаче болеет, а люди болеют отвратительно часто, даже чаще, чем умирают. Или когда в городе праздник, и радостных запыхавшихся людей очень много, все заходят в пекарню с воздушными шариками, замаскированными папиросной бумагой бутылками и мороженым, хотя знают, что вроде нельзя. Покупают в этот день, конечно, сладкое – например, прекрасный жирный пончик с розовой помадкой, который, осторожно придерживая за промасленную бумажку и все равно пачкая руки и губы, можно еще теплым съесть сразу при выходе. А еще – чёрный хлеб, его берут молчаливые мужчины, глубоко в

глазах которых теплится веселый огонек – ведь дома этот пахучий кирпич, как положено, уже дожидаются нежное сало, острый зеленый лучок и, главное – холодная водка (а может, теплая, если ты только прибежал, или вообще не признаешь этих изысков).

И вот, они всё заходят и заходят, приманенные очаровательно старомодной вывеской в виде баранки, ловятся легко, как слепые рыбы на мякиш, и жар, идущий от их распаренных первым весенним теплом тел, раньше всех провозглашает их конечную тленность. Скопление людей, их возгласы, смех, перебранки пробуждают в моей голове щекочущую ниточку. Они проходят к прилавку, близоруко прищуриваясь, смотрят на ценники, теснятся, маленькое расстояние между нами смыкается до невозможности, и хорошо, что нас разделяют прилавок с массивным кассовым аппаратом, потому что Счетчик начинает тихо, по-комариному пищать, только эту стаю так просто не отгонишь. Женщина в красном платье, смотрите лучше на полки, не надо смотреть мне в глаза, когда вы просите сто грамм вон того печенья, ведь так я еще четче вижу, как утлая лодчонка на полувывсохшем озере тихо-тихо качается от непонятно каких волн, а вы лежите на ее дне, и в этот день все также в красном. Когда это случится? Завтра? Через 10 лет? Через 20? Трудно сказать, потому что я не вижу вашего лица, чему очень и рад. Только вашу белую руку, которая бессильно, сонно свешена за борт, кончики пальцев погружены в зеленоватую воду... есть ли там



рыба, которую обрадует эта находка..? Я не желаю об этом думать, поэтому не смотрите мне в глаза, забирайте свое печенье скорей и идите, идите скорей навстречу водной прогулке. Следующий!..

Я спасаюсь своим маленьким плеером «Блекривер» – это как бы моя бутылка святой воды, которой я обороняюсь от толпы будущих мертвецов, нетерпеливо ждущих своей очереди в праздничных колпаках, с огромными цветными пенопластовыми ушами и рожками. Я включаю его так громко, насколько могу, хотя это раздражает моих покупателей. Но я быстро научился читать по губам те несложные слова, которые они мне говорят: «половинку», «и пакет», «и еще вот это», одобренные энергичными жестами.

....А потом где-то вдалеке небо с треском расколосось, расщепившись гигантским орехом, казалось, над самой крышей пекарни, и все стоящие в потемневшем, с низким потолком зале пекарни вдруг почувствовали, что над головой у них хлябь, отделенная лишь тонкой жестяной крышей, готовая вот-вот лопнуть. Лбы у всех вдруг покрылись испариной – гроза входила в свои права. Сейчас же еще несколько людей быстро вскочили в открытую настежь дверь, как в спасательную шлюпку, и остановились, смутившись: они ведь ничего не собирались покупать, только бы переждать нависший дождь. «Стойте, стойте себе у двери, ребята, вы ведь и не догадываетесь, что мне так только спокойней, и очень даже по душе наш временный нейтралитет по погодным об-

стоятельствам – вы меня не трогаете, и я вас не трону. Я ведь все-таки простой рабочий муравей, и поэтому напрасно заставляю меня всем заправлять – ведь только Алленби знает, что я больше всего пользы приношу в своей норе, мешая сладкую патоку, выпекая хрустящий хлеб».

После вчерашнего концерта и происшествия с Елисеем моя голова была словно растревоженным ульем. Слишком много всего произошло: я наконец познакомился с Хлоей и выяснил, что у нее есть Марс, которого всего спустя несколько часов не стало. Как будто кто-то нарочно снял с поля шахматную фигурку, мешающую мне подойти к Хлое. Возможно, Марс и не был мертв, когда я нашел его. Много ли я видел мертвых людей? В реальности – ни одного. В видениях и снах – десятки. Он даже на похоронах ни разу не был. Ни я, ни Елисей. Может быть, хлоин друг был просто настолько пьян, что, выйдя помочиться, упал в яму и уснул? В таком случае правильно, что я не побоялся и вытащил его, положив в коридоре клуба, под лестницей, где он мог отлежаться.

Погрохотало снова, и тут же деревья зароптали, но опустили головы. Порыв холодного ветра полоснул их макушки и ворвался в пекарню, взволновав крахмальные салфетки под блюдами пончиков и кремовых пирожных. Сладкий запах сдобы и хлебной корочки уступил место вечному спутнику городского дождя – серому запаху прибитой к асфальту крупными дождевыми каплями пыли. Капли зачастили, окрасив дорожку к пекарне в чёрный. Никто больше не тес-

нился у прилавка, и я тоже подошел к двери и выглянул наружу вместе со всеми. Никто не смотрел в его сторону, все были зачарованы неумолкающим громовым гулом, свистящим ветром и шумом дождя. Жестяная вывеска в виде баранки жалобно поскрипывала, качаясь, на своих петлях. Мимо пробежали несколько зазевавшихся прохожих, прикрывающих головы газетами, ветер трепал их гигантские желтые с розовым карнавальные уши, срывал разноцветные парики, которые теперь смотрелись еще более странно. И тут, с еще одним ударом грома, дождь превратился в сплошную гудящую стену мутной воды. Градины и острые холодные брызги, отскакивая от земли, падали на ботинки стоящих возле выхода из пекарни.

В луже размокал брошенный кем-то в спешке яркий флажок. Спасенные в ковчеге заморожено уставились на тяжелую волну, разбивающуюся об опустевшую улицу – почти сплошную стену дождя.

Но вот все заметили, что сквозь нее, одинокая на опустевшей тополиной аллее, движется невысокая тёмная фигура. Человек совсем не показывал вида, что ему досаждают дождь, он просто быстро и уверенно шагал под его струями, чуть наклонив голову, только накинув для защиты от дождя капюшон чёрной толстовки. Свободные его штаны намокли и также лоснились чёрным цветом. Тёмные спортивные туфли рассекали лужи. Я всматривался в нее вместе со все-

ми, и вдруг заподозрил что-то знакомое в этой размеренной быстрой поступи, равномерных движениях крупных рук: лица не было видно под капюшоном, массивные плечи потемнели от потоков воды. Человек, пропустив промчавшуюся машину, рысью стал пересекать дорогу – машин не было. Он, как и прочие люди, двигался ко входу в пекарню, и я, с замершим сердцем невольно сжал в руках полотенце. Задолго до того, как тот преодолел последние десять метров по прямой дорожке, я понял, что это был Трикстер.

Он зашел в булочную, заметил меня и кивнул, не торопясь, однако, подойти к прилавку. Вместо этого музыкант принялся разгуливать по залу, с любопытством осматривая его, точно это был музей. Он остановился у витрины, за спинами остальных покупателей, и также уставился наружу. Дождь усилился и теперь сплошной гулкой серой стеной стоял перед окнами.

– М-да, и грянул гром, – пробормотал Трикстер. При этих словах несколько людей обернулись, недоуменно оглядев коренастого, угрюмого типа в лоснящейся от влаги тёмной одежде. К тому же, капюшон не скрывал странных острых серег в его бровях.

– Чёрный хлеб есть? – Осведомился он.

– Да, вон там. – Я указал на поднос, где выгибали поджаристые спинки хлебные кирпичи.

Он протянул к крайней буханке два пальца с намерением проверить ее мягкость.

– Для этого есть щипцы, – предупредил я его.

Он не расслышал моих слов или не обратил на них внимания. Я не допускаю, чтобы мой хлеб трогали руками, но что-то во всем его виде, в тёмной фигуре, вокруг которой растерянно расступились обитатели временного ковчега, заставило меня помедлить. Он легко прикоснулся к хлебу, проверяя его мягкость. Я с неприятным чувством заметил, что пальцы были у него короткими и толстыми, с тёмными волосками на фалангах; казалось, он долго работал с землей – в трещинки сухих ладоней намертво въелась грязь. Смотрел он при этом, однако, на старика, близоруко присматривающегося к ватрушкам.

– Э, да этот уже совсем сухарь, – вполголоса произнес Трикстер, при этом хитровато поглядев в мою сторону. У меня внутри при этом похолодело, но я нашел в себе силы бесстрастно произнести:

– Все сегодняшней выпечки, свежее.

– Хм, свежее я люблю, – произнес он мне в тон, однако, так ничего и не взяв, направился к выходу.

Когда за ним закрылась дверь, я понял, что не могу просто так упустить его из виду и потом гадать, придет ли он снова. Я выбежал из магазина и почти сразу же нашел взглядом его широкую спину.

– Постойте!

Он обернулся и смерил меня тяжелым взглядом. Углы его губ опустились и напряглись, как у бульдога.

– Трикстер – это же вы?

– А что, хочешь автограф? – произнес он спокойным, глухим голосом, на дне которого плескалась издевка.

– Хочу знать, что произошло этой ночью.

– И узнаешь, возможно, очень скоро. Но тогда, когда это будет удобно мне. – Он еле заметно усмехнулся, повернул массивную голову и зашагал прочь. Только сейчас я заметил, что он чуть прихрамывает. Казалось, одна нога у него короче другой.

– Иди же, ты задерживаешь очередь, – произнес он, более не оглядываясь, и вскоре скрылся за углом. Я вернулся внутрь, но возле прилавка меня никто не ждал.

\* \* \*

– Что же делать? – голос мамы звучит неуверенно. Она выглядит растерянно и расстроено, теребя в руках желтого плюшевого зайчика. У нее на руках маленький Елисей – она взяла его с собой к врачу, ведь его не с кем оставить. Он тоже грустно поджал губки и приуныл, перестав махать пухлыми маленькими руками. Я сижу на коврике, рядом на полке – коллекция затасканных резиновых игрушек – больничная радость, которая уже не может обмануть.

– Что же делать, доктор?

– Мы обследовали Асфоделя – мальчик совершенно здоров.

– Но он все время чувствует боль! Иногда он говорит мне

об этом, но чаще просто молчит, но я вижу, что у него что-то болит.

– Понимаете, в его случае дело не в физической боли. Не только в ней. Есть такое понятие – гиперчувствительность. Если не углубляться, дело в том, что он очень впечатлителен, способен очень тонко чувствовать. Настолько, что воспринимает чужую боль как свою. И чувствует из-за этого вину, эмоциональное напряжение – вот и выходит замкнутый круг.

Елисей потянулся к сверкающей сталью ручке в кармане седого доктора. Тот еле заметно улыбнулся и перевел взгляд на меня. Я тут же сделал вид, что меня невероятно занимает зеленая одноглазая обезьяна, лежащая передо мной на свалывшемся коврикe.

– Часты ли в вашей семье ссоры, конфликты?

– Н-ну... – смущенно протягивает мама, опустив глаза на реденькие волосы у Елисея на макушке. Теперь уже она чувствует себя виноватой. – Мы стараемся его ограждать...

Доктор кивает и негромко покашливает, затем произносит:

– Гиперчувствительность нередко сглаживается с годами. Это нормально, если ему не нравятся активные мальчишеские занятия, такой уж у Асфоделя склад характера. Будем надеяться, перерастет.

– Доктор, а как насчет него?.. – кивает мама на Елисея, тянущего у нее из рук игрушку.

– Э, этот пациент совсем другого толка! – сказал, улыб-

нувшись, доктор. – Бойкий парень. Пока, впрочем, рано о чем-либо говорить, но оснований для опасений нет. Поймите, это ведь не болезнь, просто повышенная чувствительность к эмоциям и чувствам других людей, так называемая эмпатия. Сегодня ее многим очень не хватает.

Мама отвела взгляд от внимательных глазок доктора, она упрямо и грустно смотрела только на макушку Елисея, покрытую тонкими детскими волосами.

«Они должны уметь плакать... Не только тогда, когда расшибают коленку. Но и когда коленка болит у кого-то другого», – читает мне мама перед сном грустную взрослую книжку. Локон льняных волос наполовину закрывает для меня ее серьезное лицо, склонившееся над страницей. Шторы задернуты, за ними чернила, тепло светит желтым настольная лампа. Мы полулежим на моей кровати, на которой я, десятилетний, собрав все свои кораблики, устраивал сражения в синих складках одеяла, и на которой я в двадцать лет уже мечусь в мучительно растянутых, мутных кошмарах. Странно, что это то же самое место.

Еще слышится эхом в моей голове грустная взрослая сказка, когда мама закрывает книжку, целует меня в щеку, выключает лампу и уходит, но оставляет дверь полуоткрытой, чтобы я мог смотреть на золотую полоску света. Иначе не усну, ведь я ужасно боюсь темноты. «Болит у кого-то другого... Должны уметь плакать», – если должны, значит, все правильно? Значит, так надо? Я думаю об этом, пока нога



на сгибе не начинает наливаться неприятной тяжестью, но  
вскоре ускользаю от нее в сон...

## Глава 5

Сейчас она идет, как всегда, одна, маленькая женщина в чёрном пальто с чужого плеча, ей нравится быть печальной и томной, затягиваться сигаретой через длинный мундштук, потому что он придает ей загадочности. На ее кровати наверняка еще лежит любимый медвежонок, в ящике стола – тетрадка с наивными стихами, непременно любовью и кровью, ведь все по-настоящему значительное в жизни дается кровью... она идет, и только ей известен этот путаный маршрут ее одинокой жизни. Вот она спрыгнула с высокой бровки, вошла в подворотню старого дома, едва не задев плечом обнимающуюся пару, вот вошла во двор и балансирует на раскрошенном бетонном крае.

Тут я заметил неизменно сопровождавшего Хлою долгового рыжего Джада. Он мне не понравился еще тогда, в неоновом свете клуба, делавшем его еще более отталкивающим – на его бледном веснушчатом лице, в застывших глазах (ха, думает, что сам следит за Хлоей и даже не догадывается, что на самом деле это я наблюдаю за ним!), даже в самом изгибе светлых низких бровей застыло выражение тупой хищной птицы. Он носил жидкие ржавые волосы ниже плеч, собранные в хвост. На нем была короткая куртка грязно-зеленого цвета, напрасно не скрывающая его длинных, очень худых ног, чёрные штаны и высокие ботинки на шнуровке. Хо-

тя уже и так темнело, он предпочитал идти, прикрываясь тенью старых домов, от которых тянуло сыростью. Он шел за Хлоей по пятам, всего шагах в двадцати, а я следовал за ними по противоположной стороне улицы, стараясь делать вид, что не спеша иду по своим делам, оглядываясь по сторонам, иногда рассматривая витрины. Но там меня в действительности интересовали только два отражения – маленькое чёрное, с развевающимися полами плаща, и большое, сутулое и долговязое, вынырнувшее из подворотни и упрямо, неотступно следовавшее за первым. Забавно, но может быть, наша процессия состояла больше, чем из трех человек? Тут у меня вдруг возникло ощущение, что моя спина беззащитно гола, и что кто-то щекочет мои голые нервы будто гвоздиком... Я оглянулся – улица позади меня была пуста, только далеко на перекрестке старушка медленно переходила дорогу, везя за собой дребезжащую на брусчатке сумку на колесиках. Нервы у меня действительно стали ни к черту... Я потянулся к карману за сигаретой, но раздумал. Мне показалось, что даже слабый щелчок зажигалки, даже призрачно тихое шипение, с которым табак превращается в пепел, могут заставить рыжего обернуться и понять, что я не просто какой-нибудь гуляющий студент. Что до Хлои, я вскоре перестал бояться разоблачения. Она, казалось, всегда шла по улице словно слепая, вечно погруженная в свою внутреннюю музыку, и даже столкнувшись она со мной нос к носу, то только улыбнулась бы рассеяно, как уже виденному однажды сну.

Девушка пошла быстрее и вскоре, поднявшись по ступенькам, вошла через старую деревянную дверь в такой же дом с потеками воды и облупившейся зеленой краской. Над входом был старый, выбеленный солнцем барельеф в виде семи тонких, болезненных ирисов.

Джэд, увидев, что девушка скрылась внутри, остановился, потоптался в нерешительности на месте – солдафон явно не знал, что делать дальше. Он послонялся некоторое время возле дома, заглянул в тёмную зловонную подворотню. Стемнело, улица была безлюдна. Я стоял невдалеке от него за широким стволом дерева, он меня не замечал. Когда Джэд уже хотел повернуть обратно, из подворотни ни с того ни с сего на него с лаем бросилась грязная серая дворняга. Приседая, она скалила зубы, выкатывая глаза, еще чуть-чуть – и она схватит отпрянувшего рыжего за штанину. Поколебавшись секунду, он пошел на нее, вглубь двора, провел рукой вдоль ноги, в руке у него что-то сверкнуло, собака тихо взвизгнула, а он уже отступил и быстрыми шагами удалился в том же направлении, откуда шел, когда я его впервые заметил. Собака лежала на боку и не шевелилась. Наверное, у него был с собой нож или что-то вроде сильного электрошокера. Я прождал возле этого дома около получаса, куря и делая вид, что прогуливаюсь, как будто дожидаясь встречи с кем-то, но Хлоя не выходила. Боясь, что она выскользнет через чёрный ход незамеченной мной, я обошел дом, миновав тело так не вовремя выскочившей дворняги. Она уже не ше-

велилась и лежала, болезненно закрыв глаза и смиренно вытянув ноги. Странно, но на ней не было заметно никаких ран. Как, насколько я успел заметить, и на теле Марса. Задняя облезшая коричневая дверь была наглухо заперта.

С тех пор я видел Трикстера еще несколько раз – меня словно преследовал этот странный, по-шамански изукрашенный человек. Мне казалось, я видел его в автобусе, на перроне в метро...

Как-то я бродил около дома с ирисами в надежде снова увидеть Хлою, и вдруг едва не напоролся на вышедшего из него Трикстера. Я решил проследить, куда он направляется, и, к моему удивлению, тот расслабленной походкой пришел прямо в пекарню. Я проскользнул в нее с чёрного хода, чтобы сделать вид, будто я был там все время, и едва не избежал конфуза.

Трикстер зашел в торговый зал, отозвал меня в сторону и произнес:

- Я купил пекарню.
- Вы? Но что скажет Алленби?
- Уже ничего.

Я уставился на него. Мне отчетливо представилось вдруг, как холодный ветер шевелит измятые бумажные цветы в волосах умирающего Марса.

– Вы что же...

– Не бойся, я действительно купил это место. Ваш хозяин продал по дешевке, сказал, ему нужно срочно уехать, ка-

кие-то семейные дела.

– Не понимаю, зачем она вам.

– Просто мне давно пора остепениться. У меня есть слава, но нет дела... ты понимаешь, как это важно?

– Еще бы. Но Алленби скорее всего сам бы пришел и сказал нам всем об этом, как он делал всегда, когда происходило что-то важное, – отважился высказать я.

Трикстер только досадливо обронил, выходя:

– Ты тоже, смотрю, из тех скучных людей, которые и масло хранят исключительно в масленке.

– Ну, а где же еще? – с нарастающим раздражением от непонимания спросил я закрывающуюся дверь.

Пекарня была переделана много лет назад из небольшой квартиры и состояла из моей светлой и жаркой комнаты, уютного торгового зала-гостиной, рабочей комнаты Алленби возле чёрного хода во двор (кабинета), тёмной кладовой напротив (она же – кухня, где можно было перекусить, отдохнуть, спрятавшись за тёмными стеллажами и поговорить). Иногда мне казалось, что она и есть мой настоящий дом, а не то опустевшее, всегда темноватое жильё, из которого я словно вырос. И еще там постоянно находился печальный Елисей, за которого я был в ответе, которого любил, жалел, но который и досадной, неустранимой занозой сидел у меня в голове. Брат, с которым я впервые стал чувствовать себя неловко, потому что не знал сначала, как ему помочь, как уложить, как вообще сделать из череды процедур какое-то

подобие жизни, а затем, когда его одиночество и недвижность стали вырываться вспышками бессмысленной ярости, начал даже немного бояться.

Бессолнечным осенним утром Алленби нашел меня, спящего между ящиками овощей, все еще одуревшего от не выветрившегося хмеля прошедшей ночи. Случайно, просто спасаясь от холода и усталости, глупый мальчишка, который научился курить и на этом жизненные уроки считал законченными, забрел через незапертую дверь на складик пекарни и забылся мертвым сном. Как хорошо, что иногда судьба, по забывчивости или специально, оставляет нам эти незапертые двери.

Алленби, немногословный, сухопарый мужчина, который за несколько лет нашей дружбы дал мне больше, чем когда-либо дал отец. Алленби, по сути, и заменил мне его. Я так и не узнал, сколько ему было лет – сорок пять? Пятьдесят? Его кожа была как просоленное морем красноватое дерево, глаза голубые, очень напоминавшие по цвету глаза Елисея, но как-то пронзительней и жестче.

Он только невесело присвистнул, обнаружив у себя на складе такую находку, но почему-то не прогнал меня, что наверняка было первым его побуждением. Он выслушал мои сбивчивые извинения и, пригласив в свой кабинет, даже напоил чаем. Мне в самом деле было себя очень стыдно. Впервые я напился так, чтобы совершенно не помнить, что было

вчера и как я оказался там. Первое, что он поручил мне сделать, чтобы загладить свой проступок – разложить тесто для «кирпичей» в прямоугольные жестяные формы. Я не сообразил, что тесто в печи может вырасти в два-три раза, и сразу заполнил их почти доверху. Через прозрачную дверь я с ужасом следил, как упрямое тесто ползет через край, как в сказке о волшебном горшке. Несколько раз я, прикрывая лицо от невероятного жара рукавом, открывал дверцу и лопаткой отчаянно лупил по пухлым бокам моих первых нерадивых подопечных, чтобы придать им хоть какое-то подобие того, что я видел на прилавке. Хлебы все равно получились раза в два больше своих законных собратьев, но Алленби к моему удивлению не рассердился, он даже выставил эту первую партию моих переростков на продажу, и их раскупили, потому что хлеб, несмотря ни на что, вышел воздушным и вкусным.

Тогда у меня, босяка, который своим босячеством еще и гордился, впервые весело захватило дух от гордости – я был занят настоящим делом, к которому, как оказалось, еще и был способен! У меня, как вскоре заметил Алленби, была легкая рука. Он не отказал, когда я, ужасно робея, попросил остаться и после того, как отработал те несколько «штрафных» дней.

Хозяин пекарни также научил меня любить книги. Книга, – как-то сказал мне Алленби, этот одержимый знанием человек, – есть всего лишь форма. Тебе необязательно лю-



бить пачку сшитых листов под твердой обложкой – история, заключенная между ее страниц, как пока единственный и не самый лучший способ схватить, сохранить и передать хрупкие человеческие мысли, – вот то, что главное, вот где магия. Это то, что зачаровало людей с того самого раза, когда кто-то, оторвав всех от еды, рассказал у костра первую историю.

Странно, но эта пачка ветхих листов, скрепленная картошкой, кажется такой недолговечной, но, между тем, книги почти всегда живут дольше своих авторов, даже если их и не читают.

Как-то на книжной полке у Алленби дома я заметил толстый альбом в чёрной обложке. Потемневшими золотыми буквами на нем было написано «post mortem», и он был полон старинных фотографий людей, сделанных после их смерти или реже, – незадолго до нее. Во времена, когда фотография была редкостью (и оттого люди на них так напряжены, неуверенны в себе и смотрят в объектив так же затравлено, как в направленное на них дуло), и снимок человека, отправляющегося в последний путь, ценился высоко. У людей могло быть всего две или три фотографии за жизнь – где они в детстве, еще лежат в кружевах голые и пухленькие, а вокруг них амуры и виньетки, затем – чинные фото с супругой или супругом, и, может быть, один портрет. Я разглядывал эту странную дань прожитым жизням, свидетельства этой ушедшей угрюмой моды, и представлял себе, как род-

ственники, опечаленные, измотанные долгой болезнью члена их семьи, понимая, что пора звать священника, посылают еще и за фотографом. И ему, этому скромному слуге вечности, возможно, удастся запечатлеть своей ослепительной магниевой вспышкой тот самый момент, когда душа покидает свое изжитое тело.

Я любил подолгу вглядываться в эти пожелтевшие фотографии с какой-то удивлявшей меня самого внимательностью: вот передо мной мальчик, чинно усаженный на игрушечную лошадку; его рот удивленно приоткрыт, веки опущены, и на них нарисованы странные, неестественные зрачки – он мертв, но даже после смерти продолжает позировать для торжественно-печального семейного снимка – за ним, выпрямив спину, стоит его серьезный отец в мундире, а рядом сидит, сложив руки на коленях, словно отдыхая от тяжелой работы, мать мальчика. Сейчас все это показалось бы кошмарным, но тогда, как видно, люди не боялись смерти – ее, как важного, но неожиданно пожаловавшего гостя, приглашали в гостиную и сажали в окружении семьи перед камерой. Думаю, эти снимки действовали на меня странным образом умиротворяюще. Они молчаливо и убедительно свидетельствовали о том, что для всех этих людей смерть не была непреодолимой трагедией, горем, после которого никогда уже нельзя остаться прежним, раз ее приход увековечивается с нежной тщательностью, как последнее дорогое воспоминание о живущем. Девочка в платьице с оборками, точно

уснувшая в окружении своих кукол; кажущиеся мирно спящими младенцы, о которых бы никогда не подумал, что они мертвы, если бы их фото не были частью этого альбома.

В детстве меня как-то чрезвычайно поразила мысль, что если я умру, ничего в мире не изменится: ну ничегошеньки, господи! Мама все так же будет забывать солнечные очки и перчатки на столике в прихожей, и украдкой, чтобы мы не видели, курить свои тоненькие ментоловые сигареты, хотя мы знали об этом с детства, и нам нравилось, что она не пытается строить из себя идеального родителя, что позволяет себе шалости, как и мы, и от нее всегда пахнет горько и мятно. Сейчас же мысль о том, что земля не перестанет вертеться, даже когда облюбованное моей душой тело ляжет на ледяной стол, уже не поражает меня – просто я об этом не думаю, и мне вообще, если честно, все равно, что случится с моим телом после смерти. Конец его в любом случае незавиден, так какая разница, в каком виде оно превратится в прах? Но то, что люди, которых я знал и любил, через некоторое время после того, как меня не станет, заживут – наверняка же! – так, словно меня и не было, до сих пор доставляет мне смутное неудобство. Елисей будет все так же много курить и кататься от окна к окну, небрежно толкая ободья, по-прежнему будет рисовать мягким карандашом или углем лица на рыхлом картоне, который еще я ему покупал. Возможно, нарисует и мой портрет, пришьилит его на стенку рядом с Джимом – выйдет почетная парочка мертвецов. Если разо-

браться, только то, что я не буду приносить ему еду, изменит его жизнь. Наверное, его заберут в какой-нибудь дом престарелых, где он и проживет остаток жизни, играя со стариками в шашки – я не хотел ему такой жизни. Но была ли его теперешняя жизнь лучше?

Хлоя же, ну в этом сомневаться не приходилось, забудет меня быстро и безболезненно. Даже если она будет чувствовать грусть, то привычно заглушит ее вином. Хотя кто сказал, что я вообще важен для нее? Вот Марса не стало, но для нее не изменилось ровным счетом ничего.

Помню, когда я только пришел в пекарню, Алленби был озабочен там, что один молодой пекарь не приходил на работу уже несколько дней, не звонил и не просил отгула. Через несколько дней Алленби позвонила мать этого парня – его сбила машина, он умер на месте. А в нашем холодильнике продолжал стоять оставленный им на обед йогурт. Никто не осмеливался его выкинуть. Что за несправедливость, думал тогда я, – человека больше нет, а этот чертов стаканчик, который можно раздавить в два счета, стоит себе как ни в чем не бывало.

Почему же Алленби, учивший меня в любом деле стоять до последнего, сам так легко сдался? В глубине души у меня теплилась надежда, что он поручит мне руководить пекарней после того, как отойдет от дел. Но мое место занял этот странный тип, без всякого предупреждения, неожиданно, нелепо – как и все, что в последнее время происходило

со мной. И почему я никогда не знаю, как поступить, какой путь – самый верный?

Немного погодя Хлоя, смущенный тонконогий жеребенок, вошла в мою комнату в пекарне. Как же непривычно было видеть ее здесь, в ее истрёпанных чёрных свитере и джинсах, так странно и не к месту смотревшихся на ослепительно белой кухне. Я предложил ей стул, но она отказалась и стала вместо этого прохаживаться по комнате, осматривать все, как, я уже заметил, любил и Трикстер. Заглянула в печь, оглядела пустые полки. Она была везде, где был он. Я в это время как раз, чтобы как-то занять себя, вытирал стеклянную стойку, состоящую из трех подносов, на которых высились десерты. Ее можно было включить, чтобы те медленно крутились в витрине. Я предложил ей кофе – она кивнула.

– Какие красивые торты, вкусные, наверно, – очень серьезно сказала Хлоя, когда я вернулся. – Не зная, чем себя занять, она включила стойку. На крупных стальных подносах медленно поворачивались, горделиво показывая свои бока три торта с отделенными от них кусками, великодушно обнажающих их вишневое, ананасовое и шоколадное нутро.

– Они из пластика. Образцы того, что можно заказать. Уже год стоят все так же разрезанные.

– Правда? – удивилась она. – А выглядят совсем как настоящие.

Она отпила кофе и поморщилась – совсем не сладкий.

– А тебе нужно, чтобы всегда был сладким?

Она улыбнулась, снова быстро покивав. По правде говоря, меня довольно сильно раздражало то, что мы говорили о ничего не значащих вещах, когда сначала ее друг, а теперь, скорее всего, и Алленби, лежали где-то мертвыми. Я решил зайти издалека:

– Послушай, Трикстер тебя не обижает? – спросил я, не отрываясь от стойки, хотя на ней уже совершенно не было пыли.

Она посмотрела на меня как-то странно – сначала резко повернув ко мне свое круглое настороженное лицо, а затем улыбнувшись, точно отбросив подозрения в чем-то.

– Нет, он хороший. Я очень многим ему обязана... он многое мне дал – не только одежду, украшения, хотя это тоже важно. Теперь я участвую в его представлениях, и это занимает меня, мне это интересно.

– Как вы познакомились?

Она улыбнулась, покачав головой:

– Он поймал меня на краже. Обычно я не попадаюсь, но тогда... забавно, что тебя никогда не хватают за руку, когда ты ради забавы тянешь безделушки, но когда тебе нужен хлеб...

– И что было потом?

– Он заплатил за меня. Но не был бы Трикстером, если бы не попросил кое-что взамен: провести с ним в награду за то, что помог, один день. Мне было очень досадно, что я

попалась, и я боялась его. Ты знаешь, как он может смотреть на тебя, будто выжидает, чтобы наброситься.

– Ну да, получилось, будто выручил тебя, но если бы он тебя не схватил, кражу вообще вряд ли бы заметили.

– Вот такой он – честный, только когда ему это выгодно, – с улыбкой произнесла она. – Но и не такой плохой, каким кажется. Хуже, когда человек на вид очень хороший, а внутри... В общем, мне все равно не было куда деваться, и один день превратился в два, три, неделю. Он взял меня к себе, это было очень давно, – серьезно произнесла она.

– И сколько тебе тогда было? Десять? – улыбнулся я.

Улыбка тоже коснулась ее губ, но она ничего не сказала.

– Хлоя, Трикстер тебе... нравится?

– Да. Примерно как тесные ботинки зимой. В них больно – а без них невозможно.

– Слушай... ты видела Марса после той ночи?

Она посмотрела на меня без испуга или удивления.

– Да, мельком.

– И как он?

Она замялась.

– Я не хотела тебе говорить, но Марс не знает своей меры в выпивке. Из-за этого и не могу встречаться с ним.

– Хлоя, я точно проверил – в ту ночь он был мертв. Ее бумажный стаканчик опустел. Она сказала, теребя его в руках:

– Бывает, что неделями не вижу его, отлеживается. Зато потом как новенький. То, что ты видел, ничего не значит, я

же говорила, Дель.

Господи, до нее словно не доходило, что с человеком может случиться что-то страшное!

– Хлоя, я все-таки задам тебе еще вопрос, пожалуй, один из главных: зачем Трикстер здесь? В смысле, он правда купил пекарню?

– Купил или арендовал, я, если честно, не знаю, мне это не интересно. А зачем – чтобы быть ближе к тебе, разве так сложно это понять? Ты же видишь, что ему плевать на хлеб, все, что его интересует – он сам.

– Зачем ему я?

– Спроси его, мне трудно объяснить цели большинства его поступков. Ну, спасибо за кофе. Мне, наверное, пора. Но я еще зайду к тебе.

– Приходи, – сказал я как мог спокойно. Какой бы она ни казалась странной, мне просто необходимо было видеть ее еще.

\* \* \*

Когда я на следующий день отпер свою комнату в пекарне, там, спокойно устроившись на стуле и заложив ногу на ногу, сидел Трикстер. Видимо, он уже чувствовал себя полноправным хозяином этого места, раз вошел сюда, воспользовавшись своим ключом. Вернее, ключами Алленби. Трикстер нарочно закрыл дверь изнутри, чтобы я удивился, найдя его в комнате.



– Как тебе, Асфодель, то наше представление? – осведомился он, не давая мне спросить его первым, зачем он здесь.

– Оно... впечатляет, спору нет. Но... всё было так странно. Если честно, мне до сих пор не по себе. И потом, эти люди – они словно обезумели. Думаю, концерт был уж слишком... давящим на мозги.

– Слишком? Хм, мне кажется, ты плохо знаешь людей. Известно ли тебе, что каждый второй уже был на нем два, а то и больше раз? Как думаешь, пришел бы хоть один из них еще, если бы им это показалось отвратительным? Асфодель, если бы людям нравилось что-то нормальное, они бы в это время смотрели у себя дома вечерние шоу. Но им страсть как хочется, наблюдая за сценой, сказать: «Стоп, а это еще что за чертовщина?!». Они, разумеется, страшно возмущаются, обсудят все с друзьями, но... продолжают смотреть! Пойми, – продолжал он убеждать меня, хотя я и не возражал ему, – людей уже тошнит от того, что они ничего уже не делают сами. Ведь главное современное развлечение – это сидеть перед мелькающим экраном, дома или в кинотеатре. Люди утратили вкус к жизни, они изголодались по тому, что именно с ними самими, а не героями нового фильма, на которых им по большому счету плевать, может произойти что-то захватывающее, что-то страшное, как бывало с нашими предками. Только страх за свою шкуру заставляет шерсть на загривке шевелиться, а вслед за этим может случиться и что-то по-настоящему опасное – куда же без этого?

И чего он завелся, почему ему все время нужно спорить со мной?! То, что Хлоя и Трикстер внезапно оказались на моей территории, моем единственном острове безопасности, выбило у меня почву из-под ног.

– Именно это «что-то» и случилось с Марсом – ему было очень плохо прошлой ночью. Ты знаешь, где он? Что с ним?

Трикстер молчал – он бесстрастно рассматривал мутные стекла окна. Наконец он произнес:

– Асфодель, ты же умный парень. Как ты не понимаешь, что Марс – всего лишь бесшабашный кутила, перед концертом он выпил бог знает сколько, может, проглотил пару таблеток. Он боялся сцены... разве не глупо? Зачем тогда на нее выходить?

– То есть ты считаешь – он сам виноват в своей смерти.

Трикстер ослабился, затем быстро развернулся к двери, но затем повернулся и досадливо сказал:

– Пусть тебя не волнует его судьба. Марс сам во всем виноват. Если хочешь знать, он перестал исполнять мои приказы, понимаешь?

– Какие?.. – только и осталось глупо спросить мне захлопнувшуюся дверь.

Что это значило, в чем был виноват неудачливый поклонник моей Хлои? Почему все силы оставили его именно тем пьяным безумным вечером, стоило нам познакомиться? Такое чувство, что его душили. Почему он был так весел и возбужден перед концертом? Может, он действительно принял

что-то? Или уже тогда твердо решил покончить с собой? Что же в таком случае означали его слова: «Они оба...»? На него напали двое? Почему он не сказал ничего, чтобы помогло мне понять, кто это был? Впрочем, кроме Трикстера и Хлои у нас не было общих знакомых, и поэтому не исключено, он говорил именно о них, что они подельники и сговорились его убить? Зачем? От этих вопросов шла кругом голова. Мне нужно было с кем-то поговорить по поводу этого. С кем-то, кому я мог безоговорочно доверять и не бояться, что тот осудит меня за то, что я отвожу глаза, будто это я сам задушил Марса на грязном дворе клуба тем вечером. Алленби, почему ты оставил меня сейчас?

Еще немного и мне действительно начала бы мерещиться эта сцена, поэтому я немедленно приготовил все для очередной партии хлеба и быстро приступил к работе – ничто не успокаивало меня так, как замешивание теста и гудение печи.

«Мне кажется, ты слишком зависим от чужого мнения», – услышал я до боли знакомый внутренний голос, стоило теплой воде пополам с молоком смешаться под моими руками с мукой.

– Да, и даже от мнения своего внутреннего голоса. Замолчи.

– Ты пожалеешь. Тебе нужно прислушиваться к кому-нибудь, особенно теперь, когда ты лишился и Алленби.

– Я еще найду его.

– Да? Как маму? Или как ты нашел Марса?

– Заткнись же! – Я с силой бросил ком теста о стол. Ничего, тесто любит, когда его бьют.

Покинув мою комнату, Хлоя не ушла из пекарни. Она, как я понял, была теперь в отсутствие Трикстера главной. Я улучил момент, когда девушка, покудив на заднем дворе, куда выходило мое окно, накинула плащ и вышла. Мне нужно было узнать об этой странной паре гораздо больше.

По привычной уже дороге я вышел к ветхому дому с ирисами. Известковое лицо на фасаде с распяленным чёрным ртом бесстрастно взглянуло на меня.

Я толкнул дверь, поднялся по мраморной лестнице, прошел по коридору и увидел неплотно притворенную дверь. Оттуда слышался тихий плеск воды. Я заглянул туда – там, в ванне на золоченых ножках, такой нелепой в этой запустелой, выложенной облупившейся грязно-голубой плиткой комнате, лежала Хлоя. Наверно, это была какая-то бывшая процедурная.

Я стал следить за тем, как она, как всегда, отрешенная, купается в ванне, пена на ее груди образует белые воланы.

Внезапно из двери справа от ванны появился Трикстер, и я понял, что все комнаты соединены двумя дверями, и сейчас, я – пешка, которую запросто можно побить хоть прямо, хоть по диагонали, убрав с этой гротескной шахматной доски величиной с дом.

Трикстер задумчиво остановился у окна, в то время как

Хлоя безвольно лежала в огромной пенной ванне. Рядом с ней бутылка вина, из которой она то и дело отпивала.

«Ты помнишь?» – Трикстер принялся декламировать по памяти какие-то строки:

«Шепчет на закате колос: «Прыгай и жнеца не бойся,  
Слышишь, Солнце, опускаясь, молвит – хватит.

Не томи же нас печалью, не тревожь напрасным страхом

—  
Срежет он нас осторожно, а тебя легко подхватит.

Прыгай – станешь легче пуха,  
а не прыгнешь – будешь прахом,

На котором вырастут колосья».

«Да, мне кажется, я припоминаю», – сонно говорит Хлоя, поводя руками, на нетвердых ногах покачиваясь, будто в такт невидимым колоскам, на скользком от пены подоконнике. Она не выпускает из рук тёмно-зеленую бутылку, как свою любимую игрушку, и вино в ней кажется чёрным, когда Хлоя в забытии подносит ее к губам, делая легкий шаг в распахнутое окно, в весеннее небо...

– Стой! – слышу я собственный голос, который так резко разбивает баюкающий вязкий ритм наваждения.

Тут они оба заметили мое присутствие – Хлоя резко обернулась, бутылка выскользнула из ее рук, со звоном разбившись о подоконник – алое вино кровавой лужей растеклось и забрызгало ее ноги, заструившись вниз, вниз...

Трикстер впился в меня взглядом, но удивление на его ли-

це очень быстро сменилось благостным выражением воодушевления:

– Асфодель, я и не заметил, что ты решил заглянуть к нам. Вот что значит быть незрячим, хе-хе! Заходи же. Хочешь выпить... ах, что я говорю, боюсь, что вина больше нет. Как тебе наш маленький спектакль? Готовим очередной номер, как видишь...

Я хотел было что-то сказать, но когда открыл рот, из него не вырвалось ни звука. Широко открыв глаза, я, как рыба, беззвучно шевелил губами.

Хлоя, с интересом смотря на меня, присела, собираясь слезть с подоконника.

– Что? У тебя нет слов? – с улыбкой произнес Трикстер  
– Ну что ж...

За моей спиной скрипнули половицы – в дверях возник рыжий, отрезав мне путь к отступлению.

– Джад, ты как раз вовремя. Будь добр, покажи нашему гостю выход.

Джад, ни на секунду не меняя выражения своего бесстрастно-тупого лица, тут же взял меня за плечо. Его прикосновение было неприятно жестким, и даже через куртку я ощутил от него озноб. Он с силой дернул меня назад. Я успел только увидеть, как Хлоя, бросив на меня печальный взгляд, на цыпочках ступает по паркету к креслу, где лежит ее белое платье.

Джад резко вытолкнул меня из комнаты и потащил вниз

по лестнице, которая за это время странно обветшала и пожелтела. Мы мгновенно, почти кубарем устремились вниз, мимо анфилад каких-то заброшенных, но хранящих еще свое величие комнат, которые я совершенно не замечал раньше, где на ветру развевались какие-то бархатные полустлевшие шторы.

Я успел глянуть вниз, в крутящийся колодец лестничных пролетов, и у меня закружилась голова.

«Прыгай и жнеца не бойся», – звенели у меня в ушах печальные слова Трикстера, которые напевно произносил теперь какой-то нежный, почти женский голос. Лестница под нашими ногами как то сжималась, свивалась, образуя спираль цвета слоновой кости. «Интересно, – подумал я, – как видит все это Джад?». По крайней мере, он не казался удивленным – рыжий, как всегда, делал свою работу, машинально, бесстрастно шагая по извивающейся винтом лестнице. «Идеальный палач», – подытожил голос.

«Прыгай – станешь легче пуха», – я еще мог понять, что сладкий туман этих слов начинает одолевать и меня – перила из старого белого мрамора становились все ниже по мере того, как мы шли, словно приглашая перешагнуть и ухнуть в изменчивую бездну, шевелящуюся, скованную кольцом лестницы. Теперь я был даже благодарен Джаду за то, что он держит меня – возможно, это было не за тем, чтобы я не убежал – так он просто не позволял мне провалиться в пространство этого невероятного, зыбкого дома.

Мы проносились мимо пустых, громадных и гулких тронных залов с ровными рядами высоких золоченых кресел. Я смотрел на это все осоловело – так пьяный вваливается в первый попавшийся автобус и едет, мутно глядя в окно, сам не зная куда. Джад, вцепившись в мою руку мертвой хваткой, уверенно и ожесточенно продолжал тянуть меня вниз, где вход на очередной этаж, счет которым я уже успел потерять, начинался волной рыжего песка и поваленным стволом сухого дерева, и все ниже, где от ветра волнами колышется рыжая пшеница, и дальше, сквозь ряды ее стройных царапающих тел, где на окраине поля стояла, не прикрепленная ни к чему, белая двустворчатая дверь, неровная от многих слов масляной кра...

Будильник пищал настырно и уже давно. Я сидел, весь в поту, среди скомканных простыней, в своей кровати.



## Глава 6

Когда на следующее утро я отворил дверь пекарни, за кассой я увидел Джада. Долговязый рыжий парень пытался открыть кассу, но она заклинила.

– Эй, ты что делаешь! – я бросился к нему. Он непонимающе отступил.

– Асфодель, – вышла тут из бокового коридора тучная пекарь. – Все в порядке, это новый хозяин его поставил.

Новый хозяин... господи.

– Ты хоть открывай по-человечески, – сказал я, чтобы как-то заполнить нелепую паузу. – нижний край иногда цепляется, нужно вот так...

Я помог ему открыть отделение для денег и он тут же, не поднимая на меня глаз и не сказав ни слова, принялся механически пересчитывать купюры.

Когда я уже собрался было пройти к себе, Джад сказал:

– Он проглотит тебя.

– Что?!

– Проглотит, как меня, – он стоял, зажав деньги в больших неловких ладонях. – Выеденное яйцо, – длинным пальцем с неостриженным, желтым ногтем он сделал полукруг у виска, как бы зачерпывая.

– О чем ты?

Он молчал, снова опустив взгляд и делая вид, что поправ-

ляет злосчастный ящик. Я снова пересек полутёмный утренний зал и стал у прилавка. Вошедший мог подумать, будто я покупатель.

– Джад, расскажи, что ты знаешь, – я рассматривал оспины на его лице и жесткие пряди кудрявых волос, выбивавшиеся из его рыжей, собранной на затылке гривы. – Хлоя постоянно уходит от ответа. Она напугана чем-то, и я не знаю, чего опасаться.

– Того, чтобы он тебе в бошку не влез, – сказал Джад наконец, до того бесстрастным голосом, что у меня по спине поползли мурашки.

– Господи, скажи по-человечески. Он что – гипнотизер? Маньяк? Что?!

Он поднял на меня свои водянистые глаза, опущенные кроличьими ресницами. Я старался смотреть ему на переносицу – так проще всего создать впечатление, что ты не прячешь взгляд.

– Я – потухший, а ты дичка. Он скоро примется за тебя, ведь он – незрячий.

– Джад, я ничего не понимаю.

«Оставь его, чего ты удивляешься, что идиот несет бред!», – не выдержал внутренний голос.

– Ты сам поймешь, когда он заставит тебя смотреть, а мы тебе растолковать не можем, ты и так самый толковый из нас, – ему явно понравилась собственная неуклюжая шутка, и он расплылся в широкой улыбке, вывернув губы, как ло-

шадь.

– Куда смотреть – что я должен увидеть? Какой-то знак? Человека?

– Хозяин приказал считать, — Джад снова склонился за кассой и больше не проронил ни слова.

Имели ли его слова хоть какой-то смысл? Ну почему они все говорили так странно – бессвязно, в контексте, который, казалось, был понятен только им троим? Как он сказал: «Я потух, ты дичка, а Трикстер – незрячий»?

Когда я только повязал белый фартук и спрятал волосы под поварским колпаком, ко мне заглянула Хлоя:

– Трикстер хочет видеть тебя.

– Меня? Зачем? – я всегда задаю дурацкие вопросы, когда волнуюсь.

– Он сам тебе скажет.

Марс не мог дышать, пронеслось у меня в голове, у него не получалось вдохнуть, и бледная кожа, облепленная блестками, натягивалась на ребрах...

– Хлоя, подожди! – сказал я, быстро выходя из кухни, но в тёмном коридоре пекарни ее уже не было.

Трикстер стоял возле двери в кабинет Алленби, как раз закрывал его на ключ. Он был в потрепанных тёмных джинсах и чёрной футболке, его большие татуировки казались продолжением ее рукавов. Трикстер выглядел усталым, под глазами залегли тёмные тени, симметричные серьги поблески-

вали в тусклом свете лампы.

– О, Асфодель, вот и ты. Пойдем, – сдержанно улыбнулся он мне.

– В чем дело?

– Ни в чем. Просто, пока Алленби нет, я подумал, ты расскажешь мне, что тут да как. Я хочу осмотреть подвал, вынести оттуда старый хлам, а туда сложить то, что нам больше не понадобится.

Что нам может не понадобится? Он что, хочет переделать пекарню?.. Подвал представлял собой сеть небольших комнатенок, заваленных старыми ящиками, в ближних размещались запасы муки, сахара и соли... но была одна проблема: там уже давно не было света. И дело было в том, что всю мою жизнь, с самого детства, я панически боялся темноты. Я никогда не входил в тёмную комнату, не пошарив перед этим по стене в поисках выключателя, и всегда остерегался, что рядом со мной во тьме кто-то есть, кто-то злобный, невидимый, быстрый. И этот страх не прошел и потом, когда я стал взрослым, хоть умом я прекрасно понимал, что родом он еще из сумерек человечества, когда тьма, сгущавшаяся со всех сторон их жалкого костра, в самом деле могла настичь, разорвать и пожрать. Я понимал это, но страх всегда выше доводов разума, и потому он имеет над нами такую власть.

Трикстер озабоченно посмотрел на меня – видимо, на моем лице отразилось все, о чем я думаю.

– Да брось, парень, не съем же я тебя в самом деле! – усмехнулся он. Мы – Трикстер впереди, расслабленным медленным шагом, а я за ним, прошли к комнате-кладовке, той самой, где когда-то нашел меня Алленби. Темнота, скупо разбавленная желтым светом слабой лампочки, начиналась уже здесь. Там, за стеллажами, в деревянном полу был небольшой люк. Я откинул его, и Трикстер заглянул туда: истертые деревянные ступени исчезали в темноте.

– Тут с проводкой проблемы. Может, посмотрим всё, когда ее починят?

– Делай то, что я сказал, – сказал он негромко, но твердо. Сейчас он снова напомнил мне сторожевую собаку с ее утробным ворчанием перед рывком. – Иди первым.

«Ничего, будем надеяться, хотя бы Хлоя знает, что я здесь».

Под лестницей был лифт вниз, он тоже был словно огромная чёрная печь. Мы зашли внутрь, и он начал было спускаться, но затем свет мигнул, лифт дернулся и остановился.

Я пробовал нажать кнопку «Ход», подвала и нижнего этажа – ничего. Трикстер также молчал. Тусклый желтый свет лампочки освещал странные острые серьги в его бровях, а глаза казались тёмными безжизненными провалами. Он, казалось, совершенно не нервничал. Может, для этого мы и здесь – побыть с глазу на глаз? Я попробовал разжать створки лифта, и они чуть-чуть поддались, но он все равно уже ушел ниже уровня подвала, и вылезать из него означало рисковать

жизнью. В странной тишине прошло несколько минут.

Трикстер, поняв, что в ближайшее время нам не выбрать-ся, сел на пол лифта, вытянув ноги в грубых ботинках. К счастью, лифт был достаточно большим, чтобы мы могли поместиться в разных его углах, не соприкасаясь: хотя я вообще не мог считаться компанейским человеком, Трикстер вызывал у меня какое-то животное неприятие. Минуты мучительно тянулись. Рядом с ключицей, возле шеи, я заметил у него какой-то странный бугорок, непохожий на нарыв, уж очень правильной формы. Он проследил за направлением моего взгляда и сказал:

– Это микродермал, специальный шарик под кожей.

– Зачем он?

– Просто необычный пирсинг, – улыбнулся он.

– Зачем тебе вообще это всё? – я имел в виду его симметричные острые серьги в бровях, много колец в ушах и татуировки, покрывавшие его руки.

– Понимаешь, татуировки, сережки в губах, в бровях – тревожный для окружающих знак того, что ты не дорожишь своим телом, таким хрупким и изменчивым, а следовательно, и своей жизнью. Выбритые виски и пирсинг толькошний раз подтверждают им, как быстротечна жизнь, и более того – что ты-то это понимаешь и даже принимаешь. Вот это как раз пугает и злит их больше всего, а не все эти побрякушки.

Я лишь пожал плечами – никогда не видел в украшении

себя какой-либо ценности.

– Алленби, говорят, уехал, ни слова не сказав, да? – продолжил он.

– Да, так говорят, и я ничего о нем не слышал, к сожалению.

– Не странно ли, что вокруг тебя так много пропавших людей?

– Не понимаю, к чему вы клоните.

– Я тут навел о тебе справки – люди болтливы, что очень удобно, и им нравятся необычные истории: твоя о двоих братьях, выросших совсем без родителей. Часто бывает, что из семьи сбегает отец, реже – мать, но чтобы оба?

– Простите, но это вас не касается.

– Я же просил называть меня на «ты», – осклабился он, проигнорировав, однако, мою просьбу.

После долгой паузы он вдруг произнес:

– Мне кажется, она все сделала правильно.

– О чем ты?

– Твоя мать, она поступила правильно, когда ушла.

– Откуда ты знаешь?

– Прочитал дела в ящике стола твоего любезного хозяина. «Дьявол кроется в деталях» – вот уж это о нем. Он составил подробный отчет на всех, вплоть до последней уборщицы. Я даже не думал, что это все достанется мне на тарелочке.

– Там он зачем-то записал очень многое, даже то, что к вашей простой работе не имеет отношения. Я не устоял (да и не

пытался), прочитал эпопею о великом исходе вашей матери. Эта история заинтересовала меня, ведь я люблю все, что не поддается первичной тупой логике. И вот что я думаю: она дала вам ту свободу, о которой большинство мальчишек могут только мечтать. Я вообще считаю, что лучшее, что могут сделать родители со своим повзрослевшим ребенком – это высадить его на неизвестной станции с небольшим количеством денег. Ваша мать же поступила даже лучше, она оставила вам дом, не требуя ничего взамен. Она освободила вас.

– У тебя нет права это обсуждать. Ты купил пекарню, но не меня. Да ты хоть представляешь, через что мне пришлось пройти? Почему она не сказала мне хоть слово, куда она уходит, зачем? Я до сих пор понятия не имею. Я сам воспитал брата, и было время, когда мне приходилось собирать его чуть ли не по кускам.

Мне некогда было учиться, я работаю с 16 лет. И это свобода? Думаешь это легко, да еще когда тебя дома ждет неизлечимый инвалид?

– Инвалид? А что с твоим братом? – конечно, подумал я, Трикстер еще не узнал этого, ведь Алленби, очевидно, не упомянул об этом в своих записях.

– Ничего. – Глухо отозвался я. Как просто Трикстеру удастся раскапывать все самое тайное, самое неприятное и болезненное в человеке, – но для меня слишком много всего произошло за один день!

– Прекрати, ты сам понимаешь, что я спрашиваю не из



досужего любопытства, подробности мне неинтересны. Просто я могу помочь...

– Как? Врачи сказали, что он никогда не сможет ходить. Только чудо может что-то изменить.

– А я что – похож на врача? – в темноте я почувствовал, что он улыбается своей обыкновенной хитрой, со сжатыми губами, улыбкой.

Раздался какой-то скрежет, и тонкое жало спицы Джада пролезло между сомкнутыми створками лифта. Рыжий разжал их и подал нам с Трикстером руку.

\* \* \*

Елисей катался в коляске по дому, им овладело какое-то досадливое беспокойство. Он остановил коляску возле тёмного шкафа, где на самом верху стояла аптечка. Он посмотрел на нее с грустной улыбкой – недостижимая цель. Но все-таки потянулся к аптечке, как вдруг услышал в прихожей стук. Вскоре в дверях кухни возникла тёмная фигурка Хлои.

– Как ты вошла?

– Твой брат дал мне ключ.

Елисей попросил ее достать таблетки, она было согласилась, но по нетерпеливому, жадному выражению его глаз догадалась, как он намеревается их использовать, и покачала головой.

Елисей ожесточенно еще раз потянулся вверх в попытке подтянуть аптечку к краю, но тяжелый ящик сорвался и упал

ему на голову. В попытке отъехать Елисей неловко дернул обод коляски, и она завалилась на бок. Падая, Елисей задел висящее на стене зеркало, оно сорвалось со стены и с жалобным звоном разбилось. Хлоя бросилась к нему.

– Ну, давай помогу тебе, будем вставать.

– Ты все равно меня не поднимешь. Придется дожидаться Деля и сообщить ему, что его братец такой неудачник, что в который раз не смог сдохнуть по-человечески. Брось. – сказал он протянутой светлокoжей руке.

– Ты недооцениваешь мои силы. Мне часто приходится переносить бесчувственные тела – у нас в гримерной вечно кто-то мертвецки пьян.

Елисей сжал ее маленькую и прохладную ладонь, действительно оказавшуюся крепкой, и с улыбкой сказал:

– Боже, как давно я не держал девушку даже за руку!

Тут Хлоя подалась вперед, словно обнимая его. Ей действительно довольно легко удалось приподнять его и, опираясь на кухонный стол, снова усадить в коляску.

Он посмотрел на разлетевшиеся по полу осколки зеркала и вдруг увидел в одном из них, изогнутом серпике, свое отражение – худое безбородое лицо с обтянутыми кожей скулами, крупные сжатые губы, светлые кудри.

– Надо же, как волосы отросли. Я и не замечал – сто лет не смотрел в зеркало. А разбить его, как говорят, дурной знак.

Хлоя молча наклонилась и осторожно, двумя пальцами, принялась собирать осколки. Елисей тоже подобрал несколь-

ко, лежавших рядом с ним.

– Я похож на девушку, да?

– Нет, – подняв на секунду глаза и снова отвернувшись, отправляя зеркальный лом в мусорную корзину, произнесла Хлоя – думаю, не похож. – Она продолжила обшаривать пол в поисках оставшихся осколков.

– Я помню, что ты как-то ночевала у нас. Слушай, а вы с Асфоделем..?

– Мы теперь вместе работаем, – сказала Хлоя, продолжая, глядя в пол, шарить впереди себя рукой. Она вдруг зашипела – острая зеркальная заноза нашла ее пальцы. Но тут же сказала обеспокоенно подавшемуся было к ней Елисею: «Ничего, ничего, царапина».

– Ну, а что там Асфодель? Ушел в рабочий загул? – спросил Елисей, поворачивая ободья.

– Да, сейчас работы прибавилось, многие работники ушли вместе с прежним хозяином. Не волнуйся, я помогаю Асфоделю.

– Как же это они тебя взяли и не побоялись, что от чёрного лака на твоих ноготках весь хлеб не будет в крапинку?

Она усмехнулась:

– Я и сама не понимаю, что я там делаю. И как мне вообще жить.

– Как жить – о чем ты? Что тебя может гложить – такую малышку. Не может быть, чтобы не нашелся ни один человек, кто тебе бы не помог, не поддержал тебя. Да хоть

мой брат, он любит всех страдальцев. В детстве он, помню, вылавливал из фонтана тонущих жучков и маленьких бабочек... а мне всегда было интереснее смотреть, как они тонут. Может, поэтому все сложилось так, как есть?...

Повернув коляску за стеллажами в коридоре, он остановился, пропуская её в распахнутую дверь своей комнаты. – Да и... Что бы ни было – ты можешь в любой момент уйти на все четыре стороны. Не то, что я.

– Нас всех что-то удерживает от полной свободы. Всегда. А вы с братом – интересная семейка, – продолжила Хлоя, разглядывая стены, завешанные рисунками. Она остановилась возле портрета матери братьев: ее глаза смотрели нежно и немного устало.

– Правда? Почему же?

– Вы способны на большее, чем большинство людей. Вот ты, например, замечательно рисуешь. Мне кажется, твои картины прямо-таки живые.

Польщенный Елисей посмотрел на портрет мамы и на секунду ему даже показалось, что выражение ее лица еле заметно изменилось.

– А меня можешь нарисовать? – спросила Хлоя, плюхнувшись на кровать Елисея.

– Это будет сложно.

– Почему?

– Обычно я рисую только то, что хочу выбросить из головы.

Хлоя улыбнулась, не разжимая губ.

\* \* \*

Я гулял в одиночестве по осенней набережной. Вот из тумана вырисовалась хрупкая фигура. Когда я понял, еще до конца не веря, что это Хлоя, мое сердце, этот самый изысканный деликатес, словно опустили в кипяток. Но странно – когда она подходила, то нисколько не становилась больше, и наконец остановилась, ростом мне едва по бедро.

Это же Хлоя в детстве, осенило вдруг меня, такая, какой я ее никогда не знал, однако удивительным образом похожая на себя теперешнюю, только ниже ростом. Четкие, сочные черты бледного маленького личика, синева просвечивающих век, серьезные голубые глаза. Даже волосы уже – вороново крыло, хотя я уже знал, что это краска. Только сейчас я заметил в ее руках букет из нескольких красных роз. Они, кроме разве что кровавого пятнышка ее рта, были единственным ярким предметом на бледной, затянутой туманом набережной, точно маленькая сцена – условными декорациями.

Она нерешительно протягивает руки с розами ко мне, и я тоже вроде бы делаю ответный жест навстречу, моя рука с трудом движется сквозь этот странный туман, точно я плыву в густом молоке, где вязнут движения и звуки. Но тут Хлоя отдергивает руки с зажатым в них букетом и тонким голоском говорит заученную фразу:

– Купите цветы!

Я ловлю себя на том, что совершенно не представляю, есть ли у меня деньги. С мучительной медлительностью опускаю глаза, но никак не могу разглядеть сквозь наплывающий клоками белый мрак нижнюю половину своего тела. Есть ли у меня карманы, штаны для них и вообще ноги, держащее на себе всю эту конструкцию?

Хлоя смотрит на меня скромно и терпеливо, пока я, как бы паря над набережной, пытаюсь довести свои непослушные руки до тела, и когда они уже почти, как мне кажется, касаются ткани моей одежды, Хлоя мягко, но убеждено проносит:

– Купите цветы для вашей любимой.

– Куплю, но тогда тебе придется оставить их у себя, – улыбаюсь я.

Ее рот складывается при этих словах красной буковкой «о», и она тихо, уже не глядя на меня снизу вверх, а в сторону, за перила, где незримо плещущиеся волны скрыты глухой белой ватой, говорит:

– Боюсь, вы ошибаетесь, – она устремляет синий взгляд куда-то поверх моего плеча, – вот же она, вот ваша возлюбленная.

Острая игла чиркнула вдоль позвоночника, а лоб тут же покрылся испариной. Казалось, сам сырой воздух сгустился настолько, что стало тяжело дышать. Хлою стало заволакивать белой порошей, как бы я ни хотел, чтобы она осталась. Я почувствовал спиной, что там действительно кто-то есть,

и может быть, там все это время действительно был некто?.. Страх как тошнотворный червь закопошился у меня в животе. На шарнирных ногах я повернулся туда, куда указывал ее взгляд.

Трикстер смотрел на меня со своей обычной лукавой улыбкой. Он был в своем концертном костюме – тёмной, сплетенной из ремешков одежде, в гриме из бронзовых полос и чёрных теней, причудливо располозовавших его лицо. Его острые серьги в бровях холодно блестели. Он был в точности таким, как на концерте – более тонким, бронза и чернь скрывали неопрятную щетину на его лице, рукава закрывали его грубые изрисованные руки. Так он удивительным, неестественным образом, но все же походил на... женщину. Я посмотрел вниз и понял, что он оглаживает неестественно округлившийся живот, продолжая пялиться на меня со своей страшной, издевательской улыбкой. Неужели Хлоя имела в виду, что...

– Нет, не трогай меня, отродье! Не прикасайся ко мне! – услышал я свой крик, когда Трикстер снял руки со своей раздувшейся утробы и стал протягивать их ко мне.

Я открыл глаза и рывком поднялся, увидел привычные очертания – я у себя в спальне. Очень темно, наверное, сейчас глубокая ночь. Не слыша никаких посторонних звуков, я поспешил включить свет. Несколько капель пота скатились с моего лица на пол, когда я встал. Мне было невероятно жар-

ко, но вместе с тем была дрожь, как бывает при сильной простуде. Я чувствовал себя отвратительно грязным и липким, но у меня не было сил, чтобы пойти в душ. Кроме того, я не хотел будить Елисея.

Когда Хлоя пришла в пекарню и, сбросив свое вечное поношенное пальто, заглянула за чем-то в кладовку, я решил быть с ней жестче:

– Хлоя, почему на самом деле не стало Марса? Только ты и можешь мне это рассказать.

– Почему? – Задумчиво повторила она. – Ее вечная тяга к тому, чтобы сосать сигарету стала меня раздражать. Она медленно, чуть скривив насмешливо губы, произнесла: он умер, потому что слишком много отдавал. Понимаешь? Любил себя раздавать людям. Ведь он артист. Был им, а я только выходила на сцену в костюме и делала, что скажут.

– Мне надоело, что все вы увиливаете! Говорите какую-то многозначительную чушь.

Хлоя встала, не обращая внимания на мои слова, и с равнодушным видом собралась выйти, но я схватил ее за плечи. Горящая сигарета выпала из ее пальцев. Только на одну секунду лицо ее потеряло обычное безучастное выражение, ее губы удивленно раскрылись. Она отвернулась от меня, мягко стараясь освободиться.

– Говори, что происходит!

– Ну что тебе сказать, милый Асфодель... Ты ведь и сам



такой скрытный. Давай поговорим, если хочешь, расскажи мне, что ты умеешь, например, и я скажу, как это будет использоваться.

– И вот опять. Я пекарь, и ты это знаешь. Кем использоваться? Трикстером?

– Ну конечно. Разве вы не обсуждали это с ним?

– Мы говорили. Но я... не был с ним согласен.

– Вот видишь. Ты все понимаешь, вот только это знание тебе не нравится, да?

– Хлоя... почему ты просто сама не расскажешь мне все, что происходит в вашем мире. Я в последнее время чувствую себя так странно и глупо.

– Откройся мне, и я откроюсь тебе, – улыбнулась она краешками яркого рта своей очередной двусмысленности. Я все еще сжимал ее плечи. Что же мне было ей рассказать?

– Понимаешь, – сказал я наконец, – я чувствую других людей. Очень сильно, помимо своей воли. Часто мне от этого плохо.

Она не удивилась, но я этого и не ждал. И она не стала спрашивать что-то вроде «А что же сейчас со мной, угадай». Она знала, что мне это известно, и потому сказала, поводя плечом и высвобождаясь из моих рук:

– Хорошо, что чувствуешь. Это именно то, что нужно.

Хлоя подняла почти полностью истлевшую сигарету с пола и как ни в чем не бывало снова поднесла ее к губам. Ее голубые глаза улыбались мне, и я не боялся в них смотреть,

хотя и ощущал спиной будто далекие глухие раскаты грома, когда смотрел в них.

– Мы тут чуть не устроили пожар, – заговорщицки заметила она, ногой растирая осыпавшийся пепел.

\* \* \*

Как-то Трикстер зашел ко мне в рабочую комнатку и принялся расхаживать, как режиссер на репетиции, то и дело потирая большие ладони и поднося их к губам:

– Большинство разногласий между детьми и родителями состоит в том, что последние стараются тщательно оградить своих чад от той самой жизненной стремнины, в которую так недавно сами с упоением бросались. Они думают, что их-то жизнь уже исчерканный черновик, которому дальнейшее вымарывание уже не повредит, но они и предположить не могут, что чистая жизнь их детей может превратиться в такой же, хотя она именно для этого и существует.

Но послушай же: сама судьба предоставила тебе шанс быть бесшабашным, свободным – и что же? Ты снова находишь себе благопристойного надсмотрщика Алленби, заставляющего тебя бессмысленно месить тесто руками, хотя это давно везде делают машины. Читать книги, потому, что это считается приличным занятием, которым стоит заниматься, чтобы скоротать время перед тем, как сдохнешь... да он не понимал, что ты здесь совершенно для другого, и ты рад себя уверить в этом. Асфодель, не буду тянуть кота

за хвост. Ты – зрячий. Ты знаешь на самом деле, что это значит, потому как чувствуешь это: когда наступит время определенного человека. А я... я питаюсь этим временем. Я занимаю его у других людей, чтобы жить самому. Но когда я это делаю, я занимаю и их смерть. Я не вижу, как я погибну, но точно знаю, что это должно произойти так же, как у последнего человека, которого я... употребил. Я не вижу... но ты видишь. Я хочу только, чтобы ты помогал мне это увидеть. Ты знаешь, что я не вру, потому что видел много странных снов в моем доме, на пустынной набережной... Это не были просто случайные видения, все имеет свой смысл.

– Это что – такая шутка? – Только и смог произнести я. – Что значит, что ты занимаешь время?

– Легче всего показать. Сейчас ты увидишь сам, – взволнованно произнес Трикстер. – Джад, зайди-ка!

Рыжий сразу проскользнул в двери и покорно встал передо мной.

– Посмотри ему в глаза, – приказал мне Трикстер.

– Что? – Неужели он все-таки узнал мой секрет?!

– Загляни ему в глаза, – нетерпеливо повторил музыкант.

Преодолев свое привычное сопротивление, я заглянул в его чёрные зрачки. Я гляжу на него всего одну секунду, дольше не могу выдержать, но Трикстер, профиль которого, пронзенный булавкой, я неотвязно вижу справа от себя, заставляет меня не отводить глаза. Я ощущаю встречу собственного взгляда с его спокойным мимолетным взглядом:

как маленький болезненный щелчок в голове. Теперь это давалось мне сложнее – нарочно, насильно влезать в чью-то шкуру, и это вышло не так легко, как тогда на пороге моего дома, где я, подстегнутый опасностью, защищал собственного брата.

Я посмотрел в его глаза, присвоив его себе один его миг из триллионов, но даже это крохотное пересечение наших глаз уже было – знак.

– Трикстер... я ничего не вижу. В смысле, что с ним может быть.

– Конечно – ты же не посмотрел как следует. Я чую, что надо потренироваться на нем, поверь старой ищейке. Но потом ты сам должен будешь выбирать, кто будет целью, для этого я и обратился к тебе. Не смотри НА него. Смотри В НЕГО. Затем – смотри ИМ. Потом, чтобы выйти, гляди СКВОЗЬ него, как если бы он отдалялся от тебя, а ты хотел бы разглядеть, что там впереди, дальше на пути за ним.

Я попробовал последовать странным объяснениям Трикстера, и постепенно дело пошло. Вот я уже увереннее вышагиваю его ногами – они длиннее моих. Я понимаю, что теперь уже прочно был привязан к нему невесомым облачком, покачивающимся в такт его шагам. Мое же тело кажется мне в этот миг полужастывшим. Сейчас я весь был как онемевшая рука, бескровная, ватная, кажется, будто никогда уже не стану прежним. Я следовал за ним, еще чуть-чуть, и мне бы начало казаться, что я – это и есть он. Точно, я медленно и

верно соскользнул в него, как в мягкий безболезненный обморок, как больной – в спасительный ватный сон. Не знаю, как точнее передать то, что чувствовал тогда – наверное, я ощущал, как моя душа сбросила свою привычную кожу.

Я видел девушку с тёмными волосами, как я иду с ней по улице, мы счастливы, беззаботны, я целую ее в висок и смеюсь. Вот она становится на цыпочки, чтобы поправить мои рыжие волосы. А вот она показывает мне чахлый цветок, выросший между тротуарных плит... Вот Хлоя танцует и выполняет акробатические трюки на сцене средневекового городка, а я заморожено смотрю на нее из толпы, и я – радостный и исполненный какой-то надежды, а не покорный и тупой, как сейчас. Вот мы идем по узкой мощеной улочке, спускаемся в подвал. Там, кашляя, лежит женщина. «Мама», – шепчет Хлоя, протягивая букет из крошечных незабудок. Женщина хочет что-то сказать, но кашель душит ее. На щеке Хлои блестит слеза, которую та незаметно смахивает. Хлоя кажется еще моложе, чем сейчас, на ее щеках нежный румянец, волосы короче и немного выются, но это точно она.

Я видел Джада и Хлою, до тех пор, пока в их жизни не появился Трикстер. Может быть, вдруг успеваю подумать я, Ромео и Джульетте повезло, что они умерли, а не то бы жизнь непременно превратила их юную любовь в эту жалкую и страшную пародию на самое себя.

Помню, я боялся смотреть в сторону, на Трикстера, мне казалось, что как только я отведу взгляд, это ощущение про-

падет, и я уже не буду владеть ситуацией. Потеряю равновесие, как неопытный канатоходец. Собыюсь с шага, как лошадь, с глаз которой внезапно слетели шоры. Урфин Джюс, рокер и блаженный наркоман, обсыпал меня своим волшебным порошком, и теперь мне не остановиться. Я угорь, проскальзывающий по лицам людей, я обнаженный червь, даже без кожи, и я чувствую малейшую их печаль. Да что там – малейшую натирающую складочку их одежды, малейшее глупенькое чувство вроде того, какое пытаешься с себя стряхнуть, когда тебе кажется, будто на тебя кто-то смотрит.

Теперь я стал горячим ножом, который легко и приятно проходит сквозь мягкое масло. Спирали видений, отрывков этого влюбленного, который еще не знает, что станет юродивым на службе у садиста, другие варианты его жизни без него, без Хлои, крутились и опали позади меня ненужной более, несбывшейся шелухой.

Теперь я понял, что говорил этот странный рыжий человек. Это я был «дичкой», человеком с естественным, чудесным даром, о существовании которого до сегодняшнего дня даже не догадывался, и сегодня я понял, наконец, каково это – быть зрячим.

– По сути, ты должен сделать то же, что и хороший врач, и хороший писатель – забыть про отвращение, страх, стыд, – прошептал Трикстер. Он стоял за моей спиной, он направлял меня.

Постепенно темнота перед нами начала закручиваться

спиралью, образуя как бы пылевой коридор. В какое-то мгновение я подался было назад, но моя спина наткнулась на жесткие пальцы Трикстера: «Не забывай, это только у тебя в голове, и не бойся».

– Теперь попытайся посмотреть сквозь него.

О, Господи, я тону, но эти тёмные пьянящие волны, захлестнувшие меня, так сладостны... Я не прошу больше, чтобы ты меня спас – я приглашаю тебя посмотреть, как я опускаюсь на дно, и мои руки при этом медленно вздымаются вверх, как будто я молюсь тебе, но на самом деле просто теряю сознание, кружась в восхитительном и смертельном пьяном водовороте.

– Ну что, видел, как он умрет? – нетерпеливо спрашивает голос Трикстера.

Да, видел. Я видел, как ты толкаешь его, и Джад, твой преданный слуга, мелкий садист и несчастный Ромео, разбивает себе голову о кирпичную стену той самой комнатки, где когда-то Алленби нашел спящего пьяного мальчишку.

Главное – это уметь сделать вдох, до того как тебя сначала подхватит, а затем дернет вниз, в мутную и необъятную бездну безглазая дурнота... Это Хлоя, она здесь, она убирает с моего лица влажные пряди волос, стирает пот салфеткой, пахнувшей чем-то приторным, детским, будто вишневая жевательная резинка, от нее лицу становилось прохладно. Не открывая глаз я чувствовал, как Хлоя гладит меня рукой по волосам. сейчас Она – словно мать у постели больного ре-

бенка, или как принцесса, склонившаяся над поверженным рыцарем, павшим в схватке с собственной шизофренией.

\* \* \*

Мне только показалось, будто рядом со мной была Хлоя, или она покинула меня раньше, чем я пришел в себя. Теперь в тесной тёмной комнате со мной по-прежнему был только Трикстер, он наклонился надо мной, лицо его было омрачено тревогой, но он явно успокоился, увидев, как я открыл глаза. «Еще бы, если бы ты не очухался, пришлось бы ему искать следующего дурачка», – сказал голос. Даже он, казалось, радовался, что все еще существует. «Где же ты был, когда я чуть на тот свет не отправился?», – грустно спросил я самого себя и, конечно, не получил ответа.

– Ну, с боевым воскресением, – произнес с улыбкой он.

– Крещением, – поправил я. Я чувствовал себя словно устрица, сквозь нутро которой прогрохотал железнодорожный состав.

– Почему я не могу увидеть ничего, что касается меня? – спросил я.

– А зачем тебе взламывать комнату, в которой ты уже живешь?

Теперь я ощущал легкое приятное головокружение от печати Трикстера, поставленной на моей руке в тот злополучный вечер, когда погиб Марс.

– Я заметил, – сказал Трикстер, – что ты боишься людей



как огня. Даже больше, ведь огонь – твоя стихия. Ты ни на кого не смотришь. Но не бойся заглядывать им в глаза, хоть раз доверься ходу событий, а не пытайся его предугадать.

– Вот именно: если я буду смотреть им в глаза, я волей-неволей буду предугадывать, что случится дальше, и это раз за разом высосет из меня все силы.

– Доверься мне. Я сделаю так, как будет лучше. Если бы я был зрячим, то не беспокоил бы тебя. Но, увы, сейчас мне приходится выходить на сцену, чтобы получить от этих горящих глаз, от жадно протянутых рук, голосов, которые уже лучше меня знают все, что родилось в моей голове, – не больше того, что может поместиться на кончике комариного жала. Ты понимаешь, какой я испытываю голод?.. Ты думаешь, что это твой изъян, что ты освободишься от него и станешь идеальным, то есть как все, тогда как именно твой излом и составляет твою сущность.

– А как было раньше, Трикстер? Когда ты был зрячим?

– О, видел бы ты меня тогда! Я раскусывал людей, как спелые виноградные гроздья, и это опьяняло меня. А Хлоя – знаю, тебе нравится эта вертихвостка, но сейчас она, как зима. Вообрази же ее весной.

– Ты нарочно выбрал Джада? Чтобы я видел, что будет с тем, кто откажется тебе повиноваться?

– А ты быстро учишься, парень, – произнес Трикстер после небольшой паузы. Он не улыбался.

Когда я пришел домой, то хотел сесть и спокойно обду-

мать то, что со мной произошло, если это вообще можно было рационально осознать. Но, как только захлопнул за собой входную дверь, почувствовал, что голова гудит и наливаются невероятной тяжестью, и мне нужно было только одно – скорее погрузиться в сон.

Сначала я все же постучал к Елисею, но тот не открыл мне двери своей комнаты, откуда гремела тяжелая музыка, и мне оставалось только поставить тарелку с ужином под его дверь. Он все еще был обижен на меня, еще совершенно не представляя, что я, отчаявшийся поставить его на ноги брат, готовлю для него.

Когда я, едва найдя в себе силы раздеться, повалился на кровать, мне вспомнились слова Трикстера о его прошлом могуществе – он словно приказал мне представить его в дни своего величия, и наверно поэтому именно он, а не Хлоя явился мне, стоило мне утонуть во сне. В какой-то момент, перед тем, как окончательно провалиться в сон, меня даже внутренне оцарапало – а ведь Трикстер в каком-то смысле уже заменил мне Алленби, незаметно и легко став не союзником, а как бы постоянным противником – жестким, циничным, но в то же время умным и хитрым. Получается, что я, казавшийся самому себе таким самостоятельным и свободным, я, который пил и развлекался ровно до того предела, до какого мне этого хотелось, а потом опять же по собственной воле нашедший свое дело – никогда не мог обходиться без наставника. Сначала, в наши детские годы, им была мать, за-

тем с неожиданным ее уходом это место занял Алленби, мой отец по духу. Теперь же эта роль, исполняемая Трикстером, стала почти абсурдной – наши диалоги касались то жизни и смерти, то того, когда выносить хлеб в зал. Трикстер, по своей сути сатир, в какой-то мере ухитрялся быть одновременно и философом, пусть и на грани смешного в сплаве с жестоким и безумным, а на сцене – еще и божеством, зажигавшим огонь в глазах своих зрителей, по собственной воле готовых стать его служителями. Их притягивала его невероятная жажда, которую они смутно чувствовали, но не могли понять ее природу. Ведь он был так притягателен именно потому, что хотел этих людей, хотел присвоить их живость, блеск их глаз, их смех, их силу и их нежность – но был бессилен, был треснувшим сосудом, в котором все это едва плескалось на дне. Но даже так он был гораздо сильнее любого человека, хотя бы тем, что у него было время изучить свои возможности, понять их предел и отточить их до блеска. Страшно себе представить, каким он был, когда еще обладал полной силой и величием, и его дар, не случайный, недоспелая дичка, как говорили о моем, а осознанный и мощный, легко лушил, как спелые орехи, человеческую волю.

Но в глубине души мне казалось (наверняка напрасно, ведь я действительно судил людей по себе) – что Трикстер до конца не верил в то, о чем говорил – что ему наплевать на людей, и что человек в принципе не может совершить что-либо плохое. Люди все равно были нужны ему – для того,

чтобы постоянно сравнивая себя с ними определять, кем является он сам.

Странно, как он в толпе тех, кто мечтали стать особенными и показывали это всеми возможными способами, изменяя свое тело, кожу, личность, именно он и был самым причудливым чудовищем, старательно подстраивающимся под сумасшедший вид всех остальных. Какая ирония: он старался казаться человеком, который притворяется монстром, тогда как на самом деле был монстром, с трудом маскирующимся под человека. Его камешки под кожей не были украшением! Или, может, он убедил меня как раз в том, что его способности намного превышают человеческие, просто сейчас он не может ими воспользоваться? С чего я взял, что он когда-либо вообще ими обладал? И среди людей встречаются те, кто владеет силой внушения и гипнозом, остальное додумывает наш испуганный мятущийся мозг... Проблема была также в том, что своими путаными размышлениями я не мог ни с кем поделиться. Алленби... Ты оставил меня так же, как ранее мать, хотя я знаю, что ты внутренне осуждал ее... Неужели со мной так тяжело даже тогда, когда я даже словом не выдаю того, что знаю? Думаю, ты столкнулся с противником намного более сильным, чем ты сам, и посчитал нужным не показываться ему на глаза. Хотя я не видел тебя с тех пор, как Трикстер появился в городе, я почему-то уверен, что ты жив, что ты где-то есть и еще вернешься... Так, впрочем, думал я обо всех, чьей смерти не видел собственными глазами.

Конечно, то, что он заставлял меня делать, было мне неприятно, да и просто опасно – в определенный момент мне показалось, что я больше никогда не вернусь «в себя». Не лучше ли, когда в следующий раз почувствуешь, как заворачиваются где-то возле сердца чувства и ощущения, не вникать им, а точно и хладнокровно задавить эти странные чужеродные ростки? Жить просто и мудро, ухаживать за Елисеем, посвятить себя его выздоровлению и работе, стать лучше, стать проще?

По мере того, как Трикстер говорил, его слова обрели для меня все больший резон, но стоило мне оказаться в одиночестве, сомнения с новой, удвоенной силой начинали меня одолевать. Зачем ему понадобилось убеждать меня в том, что я и сам по себе чего-то стою – неужели на мне прямо-таки было написано, что я так в себе внутренне неуверен? «Ему просто понравилась мысль, что ты один на всем свете, – глубокомысленно проговорил в моей голове внутренний голос, – Ведь это же прекрасно – иметь в своей власти человека, которого в случае чего никто не хватится, никто не станет бить тревогу, если на свете не станет одним Марсом, одним Асфоделем меньше».

Почему так не хочется умирать, если это значит всего лишь перестать чувствовать? Не к этому ли мы стремимся, когда нам тяжело или страшно – просто отключить все чувства и забыться? Нам хотелось бы этого, но нас неизменно страшит то, что кто-то неизвестный и высший навсегда за-

берет нашу способность ощущать, а значит, и жить.

Трикстер был человеком, с заговорщицким видом приоткрывшим мне дверь в другой мир, где мне и было место, но отгородивший тем самым другой, где я проживал такую однообразную, вязкую жизнь брата парализованного человека, сына исчезнувшей матери, и парня своей печальной подруги – грустную и тяжелую, но невероятно близкую мне.

Это он, коварный божок, пляшущий в вакхическом, завораживающем танце на могилах своих безвестных жертв, был мне одновременно и дарителем, и тираном, создателем мира и нулем, из которого этот мир возник.

Как-то я спросил его, почему его вообще интересуют люди. Он ответил: «Они очень непредсказуемы в своей глупости. Источают мириады эмоций по несуществующим причинам. Как машины, самозабвенно разгоняющие сами себя, совершенно не зная зачем. Возможно, именно для таких, как я? Не может же все это быть совершенно впустую?»

Затем я задал ему вопрос, есть ли еще на земле такие, как он.

Трикстер усмехнулся своей особенной недоброй улыбкой и сказал:

– Есть. Только в этой коробке их двое.

«Но я не такое чудовище. – Пришлось возразить мне. – Я обычный человек, просто скорее всего душевно болен.

– Тогда в царстве слепых и одноглазый тоже – болен. И он ведь совершенно отличен от остальных. – Почему, как счи-

таешь, твоя мать ушла? Думаешь, мозг этого «обычного человека», которого ты так любишь, может справиться тем, что один из сыновей – утонувшая в стакане пробка, а другой – монстр, который видит людей насквозь, и пугает людей более всего именно тем, что видит их дрянное нутро?

\* \* \*

Любой человек, лишь попробовавший амриту, мог видеть свой жизненный путь, как и жизни других людей, абсолютно ясно и точно. Больше не пришлось бы людям сомневаться, какой путь избрать, как поступить, гадать, что ждет их впереди и каким будет их исход.

Но Джанвантари совершил ошибку, желая подарить свой волшебный напиток всем людям – этот кроткий и простодушный бог тоже не был совершенным. Он принял девушку, которая вышла ему навстречу, когда он торжественно нес в руках только что созданную амриту, за первого человека, желающего принять его волшебный дар, с помощью которого любой человек мог ощущать мир таким, каким он на самом деле был: ясным и прозрачным. Однако это был всего лишь один из зловредных и хитрых демонов, который, стоило ему прикоснуться к амфоре, скомкал юное лицо и показал напоследок звериное рыло с отвратительной усмешкой гнилого рта, вырвал амриту из рук у опешившего целителя и, горбатый, умчался с нею прочь.

\* \* \*

Трикстер вернулся в дом ирисов. Он чувствовал в голове непрерывный и мутный звон, какой бывает от монотонной и тяжелой работы. Тяжело ступая, он заставил себя дойти до постели, застеленной серым шелковым одеялом, и блаженно растянулся, сложив руки на груди. Трикстер чувствовал, как он истощен. Некоторые пауки способны вызывать у себя на теле красивейшие разноцветные узоры, напоминающие цветы, чтобы привлекать в паутину доверчивых насекомых. Он давно решил про себя, что и был именно таким пауком, разорявшимся пучками удивительных огней, танца и пляски, но сейчас устал перед ними плясать, он хотел просто брать то, что было так доступно – как сорвать с дерева созревший плод, и не мог, постыдно боялся умереть, соскочить в вечный сон.

Мальчишка раздражал его, он вечно норовил соскочить как раз в самый последний момент, когда еще чуть-чуть, и ничего нельзя будет вернуть, пришлось все делать самому на последнем пределе, накопленном раньше жиру, а старик никак не хотел умирать, цеплялся так, что чуть было не утащил за собой его самого.

Трикстер больше не хотел оставаться один, но и не был одинок. Он улыбнулся с закрытыми глазами, и его желтоватые зубы на мертвенно-сером лице были неприятным зрелищем.



## Глава 7

Я видел спящий городок Трикстера на Уклоне, где я впервые встретил Хлою. Здесь, под сенью приземистых деревьев, мне чудится фигура Трикстера, он сам был похож на коренастый корявый пенёк. Но нет, он движется, отделившись от тёмного древесного ствола, старый сатир манит меня узловатым пальцем:

– Пойдем со мной, Асфодель, – как всегда, властно, но в то же время спокойно и вкрадчиво говорит он. – Не бойся, – мерцают в зеленом сумраке его блестящие серьги, горят тайным тёмным огнем его глаза.

С трепетом я приближаюсь к нему, и он берет меня за руку. Я ощущаю сухое тепло его ладони. Он увлекает меня по тонкой тропинке, просто ниточке песка среди истлевших листьев. Мы движемся быстро, беззвучно. Он больше не смотрит на меня. Он получил то, чего хотел, как всегда получает.

У пекарни, как с тревогой отметил я ранним утром, появилась странная особенность – несвежий, застоявшийся воздух точно скапливался на определенных участках коридора, возле кладовой и пустующего кабинета Алленби. Я надеялся, что дело было в засорившихся воздуховодах, и старался не реагировать на такие изменения, исподволь все равно связывающихся в его голове с приходом Трикстера, его коренастой широкоплечей фигурой, пересекающей всегда

полутёмный коридор пекарни, худощавого Джада, к которому я чувствовал какое-то непонятное мне самому животное отвращение. Мне очень не нравилось, что теперь, когда я выходил из своей рабочей комнаты, ослепленный внезапной темнотой, тощий трикстеров крысятник мог быть там, на своих длинных ногах кузнечика вышагивать по коридору, исполняя неизвестное больше никому указание своего хозяина. И даже Хлоя, как ни неприятно было это признать, тоже была частью этой странной компании – бледная, маленькая, в своем вечном всеотрицающем чёрном наряде. Фальшивая монахиня, лживая скромница. В них всех было что-то не так. Каждый из них был в чем-то «слишком», и это настораживало не только меня. Все работники пекарни казались молчаливыми и настороженными. Они не понимали, что происходит, чего ждать от нового странного хозяина, изрисованного и исколотого; для них трюкач в прямом смысле был словно из другого мира. Они казались овцами, нюхающими воздух и поводящими головами от того, что учуяли кровь под освежаванными шкурами, которые набросили на себя все вновь прибывшие сюда. «Ну а сам-то ты нормальной всех нормальных», – дружески усмехнулся, ожив, внутренний голос. – «Тебя же сторонились точно так же. И ты тоже высокий, молчаливый, тёмные отросшие волосы падают на глаза, помогая тебе скрывать ото всех свой взгляд. Да ты просто создан таким, как они. Ты тоже особенный, и именно в тот момент, когда осознаешь это, ты сможешь...», – раз-

дался привычный внутренний голос, предостерегающий или издевающийся, как обычно, слитая со мной моя же частичка. Однако, погружая ковш в раскрытый мешок с приятно сухой, мягкой мукой, я почувствовал, что это может быть и знакомый глубокий и вкрадчивый голос Трикстера.

Я встряхнул головой. Ночью мне приснился странный сон, как, впрочем, и всегда. Будто бы я в пекарне и, опасаясь, что кто-то застанет меня отлынивающим от работы, пробираюсь в кладовку, потому что щекочущий ноздри божественный аромат свежеспеченного мной золотого хлеба разбудил вдруг во мне невероятный голод – я чувствовал, что в животе будто ворочаются гигантские змеи. Когда я спускаюсь по трем ступеням в темноватый погребок, уставленный стеллажами, то вдруг на нижней полке замечаю оставленный кем-то частично распакованный из пергаментной бумаги бутерброд. Он показался мне в эту минуту цветком-мухоловкой, чей запах гнилого мяса притягивает мух, со своим огромным языком из красной ветчины, торчащим из створок воздушного хлеба. Несмотря на невольное отвращение, я потянулся к нему и, уже ощущая у губ запах мяса, тут же был оторван от еды – Трикстер, внезапно возникнув за моей спиной, резко развернул меня к себе. Он был очень бледен, это я рассмотрел даже при скудном свете маленькой лапочки под потолком.

Трикстер позвал меня в кладовую – кабинет Алленби он почему-то принципиально не занимал.

– Если хочешь, то можешь больше не заниматься этим хлебом, – сказал он, – теперь я здесь главный, и тебе не обязательно возиться с этой жижей.

– Я признателен за это, но мне нравится печь хлеб. Всегда нравилось. Возможно, тебе поначалу трудно это понять, да ты и не сочтешь это важным – но это старое здание находится в самом центре. И если прознают, что здесь больше не продают хлеба, его с радостью купят и сделают очередным модным магазином, где все ослепительно белое и нет ни души. Может быть, поэтому ты и пришел – сделать из пекарни какой-нибудь неформальный клуб. Но пока я еще здесь, как помощник Алленби, у меня есть выбор – и я буду продолжать печь. К тому же, это помогает мне сосредоточиться, отвлечься...

Было бы хорошо, если бы я мог выражать свои мысли с помощью красок, линий и теней. Я бы хотел написать обо всем, что со мной происходило, но у меня не было способностей к красивому слогу. Все, с помощью чего я мог выразиться – это хлеб, его плоть, его воздушность, дух. И это, казалось мне, тоже было немало. Но музыкант считал по-другому.

Тикстер хмыкнул, неодобрительно покосившись на меня – конечно, он не был удовлетворен ответом. Помолчав, он постучал желтыми ногтями по столешнице и произнес:

– Хочешь ты этого или нет, но твое умение – словно отпечатки пальцев – они твоя суть, они никуда не исчезнут, даже если снять верхний слой кожи.

Я не стал говорить ему этого, но в данный момент хлеб был чуть ли не единственной нитью, связывающей меня с реальностью. Хлеб – это, пожалуй, единственная алхимия, единственная магия доступная современному человеку. Я боялся, что если, как того с жадностью требовал от меня Трикстер, продолжу проникать в людей, то в какой-то момент уже не смогу вернуться обратно. Так, думаю, тихо отходит, сгорая от жара, больной малярией. Просто потеряю смутную связь с собственным телом, уже не признаю его как привычную обитель своего сознания, и, сам того не желая, засяду в очередном смутном, послушном мне теле, которое сам же поведу на заклание, и тогда изголодавшийся Трикстер вихрем поглотит его, и меня вместе с ним, даже не заметив этого.

Я – паразит, я – жирный мучной червь, который слепо и беспорядочно тычет вокруг своим рыльцем, стоит тебе открыть зараженный ими мешок.

– Тебе нужно учиться *видеть*, что поделаешь.

– Это нужно тебе. А если я этого не хочу?!

Прямой отказ вывел его из себя.

– Я! Я! Я! Все время только и слышу! Самое тяжелое – сломать эту скорлупу, убить это причитающее о своей уникальности жалкое «я», за которым – только чистый поток – одинаковый у них всех.

Взяв себя в руки или только сделав вид, Трикстер коснулся подбородка в притворной задумчивости:

– Как думаешь, хочет ли жить Елисей? Пройтись по росистой траве своими новыми ногами?

– Если не согласишься, ты знаешь, что мне и Джаду не составляет труда прийти к тебе домой, где тебя ждет не дождется твой безногий братец.

– Кто же ты, Трикстер? – сказал я после паузы, натянувшейся между нами, как стальная струна. – Что породило такое чудовище, как ты?

Его губы вплотную приблизились к моему уху, и я ощутил его горячее дыхание с примесью... тлена? Свистящим шепотом он промолвил:

– Хочешь знать, кто я на самом деле? Я сатир, я фавн, я сам Пан, черт тебя дери. И этот Пан прибежал в этот мир на своих кривых козлиных ножках, неказистый и похотливый, как сама суть нашей жизни, как сама клоака, из которой ему суждено было вынырнуть, и он сам воплощал всю страсть и жадность к жизни, какая только может быть. Лицо страсти не бывает спокойным, оно всегда искажено до отвращения, оно всегда уродливо, как я. Хотелось ли тебе чего-нибудь так, что ты был бы готов за это умереть, разбиться в лепешку? Как я хочу жить, жрать того, кто попадется под руку, вгрызаться в жизнь, лишь бы сохранить ее? Я знаю, что нет, ведь такие как ты никогда не позволяют себе сбиться с пути, проживая свою приличную, благопристойную и никчемную жизнь! Да пойми же, человек только и существует на свете, чтобы хотеть. Само желание зарождает жизнь, первый вздох

человека, первый крик – уже неистовое желание жить, высасывать жизнь из теплой усталой материнской груди. Готов поспорить, если бы тебе, каков ты сейчас, предложили родиться, вынырнуть из небытия, оставив позади сотни других людишек, ты бы из вежливости промямлил «нет, спасибо». И как не хотят люди отпускать свою жизнь, с которой они так и не осмелились ничего сделать, вечно боялись желать, но все еще страстно и слепо цепляются за неё. И тебе ли этого не знать...

– Не смей! Ты из тех, кто считает себя лучше других. Но посмотри на себя – в тебе нет стыда, нет достоинства, нет совести – ты попросту не человек.

– Да, и я не жалею об этом, черт возьми, а твоя жизнь только и состоит из сожалений. Сможешь ли ты вспомнить сегодняшней день через десять, двадцать лет? А я знаю – нет! потому что сегодня с тобой ничего не происходило, кроме жалких раздумий, и так было всегда.

– Возможно. Но что великое и значительное совершил ты? Лишил жизни сотни людей, устроил концерт, на котором все обезумеют, и им это нравится? Открыл глаза такому ничемному парнишке как я? На что годна твоя жизнь?

– Парень, когда ты наконец усвоишь – мне и не надо чего-то совершать. Моя жизнь годна именно на то, чтобы сделать меня счастливым. Хотя постой, постой, слишком пафосное слово, больше похоже на то, к чему стремишься ты, но из трусости не осилишь. Скорее, я удовлетворен своей

жизнью, я сыт. Да, я утроба мира, жаждущая жрать и с наслаждением переваривать, но это лучше и честнее, чем строить из себя мировой разум! Да, я нечист, но это ваша нечистота сделала меня таким, ведь я всего лишь использую вас как материал.

– Ты просто хочешь раздражить меня, чтобы я поступал, как тебе бы того хотелось.

– Да, черт побери, какой туманный намек!

Он повернулся ко мне спиной, обдумывая что-то, и наконец произнес:

– Я думаю, смысл человеческой жизни – в наслаждении. Мы ищем его везде: в любви, творчестве, еде, именно без него наша жизнь теряет краски и весь смысл. Есть некоторое наслаждение даже в труде и боли, – он посмотрел на партию свежеиспеченных мной хлебов. – Ты уверен, что живешь той самой, правильной для себя жизнью? И что она имеет именно тот смысл, который ты хотел вложить в нее? Мне ты можешь ответить что угодно. главное – не ври себе.

Сейчас он избавил меня от своего всепоглощающего присутствия, но не оставил в покое. «И не оставит, пока кто-нибудь из вас двоих еще жив», – с холодной честностью вдруг рассудил голос, и на этот раз я не мог поспорить с самим собой.

Думаю, Трикстер был в какой-то мере прав, и меня на самом деле настигла та же болезнь, что и Елисея – придя к определенной точке нашей жизни, мы с братом спрашивали



себя: что я уже сделал? Чего я достиг, чего стоит моя жизнь? Было ли в ней хоть что-то достаточно хорошее, достаточно ценное? И совершенное отсутствие в наших головах положительного ответа, равнозначное бесполезности наших жизней, наших, казалось бы, незаурядных мозгов и ловких тел бесило и подтачивало нас, меня лишь изнутри, Елисея – еще и снаружи.

Отличаюсь ли я 20-летний от себя 23-летнего? Мой внутренний голос, вторя Трикстеру, к моему неудовольствию произнес, что если эта разница и есть, то он уже точно не помнит, в чем именно. Выходит, эти три наслоившихся листка полупрозрачной кальки ничего не добавили, не улучшили и не ухудшили. Зачем же они тогда вообще прошли?.. Ну, возможно, разница только в том, что три года назад я только начинал осваиваться в своей белой комнате и, считая, что я не имею способностей к чему-либо, все-таки стал талантлив в пекарском деле, каким бы незначительным оно мне раньше ни казалось. В двадцать и я, и Елисей были еще слишком незрелыми, чтобы оторваться от пуповины нашего всегдашнего окружения, неизменно и щедро снабжавшей нашу кровь острыми соками – спиртом и никотином. Старший, подхваченный вовремя, я выбрался и окреп, а застрявший Елисей изувечился и стал иссыхать. А я, не оградивший его нисколько, не сумевший объяснить, что вечеринка с друзьями за бутылкой пива – это нормально, а многодневное гульбище с разбиванием гитар, мебели и чужих лиц – совершен-

но нет, теперь понятия не имел, как помочь своему брату, человеку, который с яростью отвергает любую помощь. Его мышцы и кости срослись, но сам он уже вряд ли когда-нибудь стал бы целым, даже если бы и захотел. Горькая ирония – он стал одним из тех людей, мысль о которых, я уверен, никогда даже не посещала его белокурой головы.

Если возможно вообще было, как говорят, есть жизнь большой ложкой, то меня не оставляло впечатление, что я и не притрагивался еще к этому кушанью. Возможно, Трикстер верно это подметил? Может быть, ему действительно стоит больше доверять, ведь на сегодня он был единственным существом, которого волновала моя судьба.

Наверное, было странно верить во все, что со мной происходило или лишь казалось, что происходит, и при этом не верить в приметы. Я и не верил, но и не мог по-другому объяснить, почему со времени, когда Трикстер завладел пекарней, у меня совершенно перестало получаться печь хлеб. Казалось, даже предметы настроились против меня. Ножи тупились или неожиданно срывались, ранив мне пальцы, и само тесто словно изменило мне, издевалось надо мной. Я делал все, как обычно, и даже, опасаясь неудачи, намного аккуратней и тщательней, и радовался также, когда через дверцу печи уже видел румяные головы хлебов, но когда вынимал их, все словно обращалось злой шуткой – кроме этой запеченной корочки они все состояли из сырой клейкой жижи. Я был не просто разочарован, я запарывал свою работу и тем

самым срывал весь процесс, ведь все ингредиенты выдавались мне только раз в день, на рассвете. В зале толпились люди, ожидавшие свежееиспеченного ароматного хлеба, хрустящих булочек и сладких пирогов, но из-под моих рук с недавних пор выходили только несчастные уродцы, которых я сам стыдился и о продаже которых не могло быть и речи. Хотя я не верил в это, но что кроме размолвки с Трикстером, новым тёмным королем нашего маленького государства, могло быть этому причиной?

Меня пугало то, что все каким-то ненавязчивым образом, исподволь происходило именно так, как говорил трюкач. Он упоминал, да и по всем приметам я замечал, что ему противен запах хлеба и вообще всяческих продуктов. Трикстер, казалось, вообще не понимал их предназначения, и из-за этого и мое любимое дело казалось ему непонятным и бесполезным. Как-то солнечным утром он зашел ко мне своей походкой вразвалку, сосредоточенно посмотрел через мое плечо на желтый, приятно округлый песочный шар, который я как раз бережно оборачивал пленкой, чтобы отправить выстаиваться в холодильник – ему это только на пользу.

– Ты и правда считаешь, что родился, чтобы месить тесто? Не смей меня.

– А ты будто родился тоже только для того, чтобы давать непрошенные советы? Любая жизнь нелепа, если посмотреть на нее с этой точки зрения – чего бы мы хотели добиться и кем нам удалось стать – всегда два разных человека.

– Возможно. Но я, Асфодель, другое дело. Я тоже в каком-то смысле инвалид, как твой Елисей. А вот ты только понапрасну тратишь время, и чем раньше это станет тебе ясно, тем лучше.

– Я прекрасно себя здесь чувствую. Знаю, что я на своем месте. Может быть, просто... тебе это не очень подходит? Это маленький магазинчик, и он нисколько не изменился за последние пятьдесят лет. Здесь нет фанатов с горящими глазами, обожающих тебя и готовых на все. Зачем это тебе вообще?

– Тебе что, нравится, чтобы я пресмыкался перед тобой, объясняя, что мне нужен ты, твои способности, которых у меня нет и уже быть не может? Да, я трачу время здесь с тобой, где даже скудный ручеек энергии от их благодарных глаз не освежит меня. Я – как умирающий больной, который умоляет о помощи, в то время как доктор продолжает невозможно играть в крикет! Ты занят сейчас таким же дурацким делом. Я даю тебе день – ровно один день на размышления.

–

А что потом? Если я откажусь?

Трикстер уже сбросил свою сладкую маску. Теперь он не просил меня, как бывало раньше: «Помоги мне. Ты должен стать моими глазами. Нет, я прошу тебя быть моим проводником, потому что считаю тебя равным себе и уважаю». Нет, во мрачном выражении его осунувшегося лица с поминутно всплывающей на нем гримасой досады, в которое я иско-

са с опаской заглядывал, чтобы не напороться на тяжелый острый взгляд, неизвестно что готовящий мне, сквозило уже дикое выражение языческого бога.

– Во-первых, это будет конец для Елисея. Нет, я и пальцем его не трону. Он сам прекрасно справится с собой сам, если мы не вытащим его из этого каменного мешка обездвиженности, в котором он вынужден находиться. Ты не вытащишь. А во-вторых, и это, разумеется, самый жесткий и неприемлемый для меня способ – Джад может объяснить тебе, что уклоняться от мольб друга, который к тому же и твой начальник, – очень плохо. Я могу просто не уследить за ним, ты же знаешь, какой он садист. И кому ведомо, кто может пострадать от него – ты, или, может, Хлоя.

– Послушай, а если я помогу... то тогда тебе больше не нужно будет отнимать жизнь у других ради своей?

– Нет, мне все равно придется. Такой уж я есть, и одного человека мне хватит ненадолго. Наверняка ты считаешь меня мерзавцем. Но я всего лишь пользуюсь тем, чему и так суждено пропасть – что же в этом плохого?..

– Но ты сам знаешь, что берешь чужое. И это не просто вещи.

– Я беру оставшийся им срок и делаю с ним то, чего им не сделать никогда! Музыка, божественное наслаждение жизнью. Они бы сами благодарили меня, что я превращаю жизнь, исполненную мучениями и отвратительной жалостью к себе, в священный экстаз.

– Да, и они несомненно сказали бы тебе спасибо. Если бы могли.

– Зачем я вообще объясняюсь перед тобой?! Придет время и ты сам все поймешь.

«Надеюсь, не придется», – сказал голос.

– Убирайся, – выдавил, наконец, я.

Трикстер, смерив меня красноречивым взглядом, вышел, плотно закрыв за собой дверь. Я облокотился о стол, точно только что поставил тяжелый груз. В печи у меня как раз допекалась партия замечательно красивых золотых, с тёмной корочкой багетов, но, когда я открыл дверцы духовки, к моему удивлению, не ощутил никакого запаха, даже самого слабого намека на аромат свежеспеченного хлеба, от которого раньше невыносимо сладко кружилась голова. Видимо, я слишком много тратил себя в последнее время на нужды Трикстера, и мои собственные чувства притупились. Как там говорила Хлоя о Марсе – «он слишком много отдавал»?

Трикстеру ведь и не дано было понять этой магии хлеба, которой я в свое время упивался, которая была моей единственной радостью и отрадой с тех пор, как я примерил на себя «взрослую» жизнь, полную монотонной тяжелой работы и бедную развлечениями, пассивными, такими как кино, книги, если я и находил на них время. Трикстер не признавал радости простого труда, удовлетворения и гордости от того, что ты делаешь что-то руками попросту из ничего, и оно обретает форму, предназначение и смысл.

Недавно я видел сон – немолодой человек в потертой куртке, по-видимому, спешащий на работу, падает, и из его уже лежащей на земле полотняной сумки вдруг странно и нелепо выкатывается круглый, тёмно-оранжевый хлеб. Мой хлеб, который я собственными руками сделал сегодня ночью.

Самое страшное – я уже до конца не понимал, притворялся ли я, стараясь обдумывать сказанное им и мысленно соглашаться с тем, что говорил этот шаман-кукловод, или действительно попал под его чары, наивно продолжая считать, что просто подыгрываю ему, оставаясь верным себе.

Может, Трикстер просто заставил меня поверить, что двери лифта заклинило, когда мы якобы застряли там? Где был тот предел, за которым я больше не мог себе доверять? Возможно, он также внушил мне и то, что я мог читать человеческие сны. Может ли быть, что это лишь мое распаленное воображение, тщеславие, которое он легко переманил на свою сторону? Как бы то ни было, у меня тоже была некоторая власть над Трикстером – его незрячесть давала мне эту слабую надежду. «Если ты уже владеешь ситуацией – обрати ее в свою пользу», – рассудил голос. Вернее, поступи сам, как считаешь правильным, ты ведь всегда помогал другим, и ты бы не позволил, чтобы кто бы то ни было в беспмятстве лежал на затянувшемся сметном одре только потому, что Трикстер счел его жизнь недостаточно ценной.

В тот вечер у меня была ночная смена в пекарне, и в по-

следнее время это означало, что у Трикстера есть для меня работа другого рода. Но когда дверь отворилась, я, к счастью, увидел не стриженую голову трюкача: это была Хлоя.

Она подошла ко мне и крепко обняла, дав поцеловать свое запрокинутое лицо, на котором было отрешенное и какое-то благостное выражение. Я понял, что в это время в пекарне, скорее всего, уже никого нет. Я запер дверь, и она раскрылась мне навстречу, как цветок, и я дышал ею, пил ее. Бывают на свете такие беды, навстречу которым идешь с распростертыми объятиями.

И тогда, когда она, отделившись от меня, упала рядом на дощатый пол пекарни, а я еще только начал переживать сладкую судорогу, я нечаянно заглянул в ее глаза – почти чёрные из-за расширенных зрачков – и увидел, а затем и ощутил то, чего так долго страшился: как блестящее узкое лезвие входит, легко пробив чёрную ткань платья, под ее ребро. У меня мгновенно мучительно сильно и тонко кольнуло под сердцем, и вместо блаженства я скривился от боли. Мне было тяжело дышать, и я отвернулся к стене.

– В чем дело? – спросила она, застегивая на груди пуговицы.

– Ничего, здесь очень жарко, – солгал я.

\* \* \*

– В детстве это происходило не так часто, – объяснял я Елисею. – Может, потому что еще все в новинку, и еще не



знаешь, что нормально, а что нет, и я думал, что это могут все. Вот, например, отчетливо помню сказки братьев Гримм – в одной из них герой шел по лесу, а за ним шли чудовища. Он понял, что они его сейчас увидят и схватят, и нашел выход: на веревке были подвешены два трупа, а он уцепился посередине, сделав вид, что тоже мертвец. Чудовища пришли оторвать с трупов мяса для своего хозяина, и оторвали ото всех тел, и от него, но он не издал ни звука. Когда их хозяин отведал мяса со всех трех тел, он сказал чудовищам – принесите мне еще того, что посередине – оно самое свежее. Жутко, да? А детям этого еще не ясно. Так и со смертью вообще. В детстве думаешь, что если человек умер – он просто далеко-далеко ушел, и ты просто больше не можешь с ним поговорить, дотронуться до него. Может быть, в этом и есть суть смерти.

А потом, в старших классах, я почувствовал, что больше не могу этого выносить. Понимаешь, когда просто идешь в толпе людей, то их исходы – я называю это исходами – это же не приговор, как в суде... Их исходы мне почти не заметны, как если бы каждый из них просто шел с включенным на определенной частоте радио, и они скользят мимо тебя, как волны, почти не задевая.

Но в школе всегда надо было сидеть на одном месте, и это меня убивало, просто подтачивало каждый день. Когда людей вокруг тебя мало и они не двигаются, их исходы начинают идти по кругу...

– Постой, а с остальными что? А...

Я уже знал, что он скажет. И это была одна из причин, почему я решил признаться Елисею только сейчас, когда держать все в себе стало казаться невыносимым. Я прикурил и постарался не отводить от него взгляд:

– Остальные – от старости. Ты очень долго проживешь и сможешь почувствовать, какой день будет последним. Когда есть время подумать и все осмыслить – не так страшно.

– Когда знаешь, то не страшно. А как можно осмыслить неизвестное? Скажи, когда моя очередь?

– Это тебе не очередь за хлебом, не спрашивай, кто крайний!

– Опять ты все перекручиваешь! Ну ладно, а кто первый, можно узнать?

– Можно, но зачем? Ведь он уже купил хлеб и вышел из магазина.

– Слушай, ты так много куришь... наверно, ты знаешь, что, ну... не от этого умрешь.

– Насчет себя не знаю. Честно. Может, потому и курю, чтобы, как бы сказать, добавить определенности.

– Иди к черту! Определенности он захотел! Ты свои дурные шутки брось, у тебя, должно быть, на сто лет вперед все расписано. Ну что тебе стоит рассказать?

– Да не у меня расписано! Как будто я придумал, что солнце всходит и заходит. Может, я – это приемник, настроенный на другую волну, в отличие от всех остальных людей. Может,

я просто шизофреник.

– Может... давай больше не пить. Или уже без разницы?

Это заставило меня улыбнуться.

– Разница всегда есть, Лис.

– Дель, вот как ты думаешь: мы сами укорачиваем себе жизнь, или, как говорится, все на роду написано?

– Постоянно об этом думаю. Наверное, связь такая же, как если ножом играешь, стоя в той же очереди за хлебом. Никогда не знаешь, кого зацепишь, и чаще не себя.

– Ну а все-таки, если ты знаешь... может, попытаться отсрочить, ну хоть кому-нибудь, а? Ты ведь и об этом-то думал-передумал всякого, наверное.

– Да, думал... если людей начать выдергивать из очереди, скорее всего, все перепутается, и может не остаться хороших исходов, без боли, без унижений.

– Ну откуда ты знаешь, как это будет! Тогда, должно быть, и не придется в этой чертовой очереди стоять!

– Да, чертова очередь, это ты хорошо заметил. А в Бога ты веришь? Я, например, верю, что мы стоим не просто так. Вот как у нас в магазине, все ждут, чтобы купить свежую пахучую булку. А печет эти булки Бог.

Елисей смотрит на меня и улыбается во весь рот. Зубы у него красивые и белые, губы розовые. Удивительно, ведь он почти ничего не ест, только может выпить кофе, если я ему сварю, но остается таким же красивым... Его улыбка все шире, разве могут люди так долго улыбаться? Она напоминает

мне оскал какого-то животного, еще более странный оттого, что хочет казаться дружелюбной.

– Лис, ты что?

Он молчит, просто продолжает беззвучно пялиться в мою сторону, все так же сидя рядом с окном. Утреннее солнце золотит его и без того желтые кудри. Елисей опускает взгляд вниз – «смотри!» – и опять сверлит меня странно веселыми глазами. Медленно, с тайным страхом я перевожу взгляд на его ноги... но их нет! Вместо них на пол со стула спускается блестящий, зеленый и чешуйчатый хвост ящерицы. Прежде, чем я успеваю понять, в чем дело, ужаснуться или отпрянуть, Елисей падает прямо на меня, все с таким же стеклянным выражением красивого лица, но не успевает коснуться... Где он? Свернувшись и съежившись на полу, он – уже маленькая золотисто-зеленая ящерица – вильнул хвостом, просочился между половицами и исчез.

\* \* \*

Этот сон, дурацкий и чудной, как обычно, подействовал на меня странным образом: придал мне энергии и решительности. Я пришел в пекарню, еще довольно рано, чтобы остаться с Трикстером с глазу на глаз. Улучив момент, когда, получив какое-то поручение, Джад ушел, я сказал ему:

– Я не могу смириться с тем, что ты убиваешь людей, Трикстер. Может быть, тебе просто нравится смотреть на них, впиваться их беспомощностью и чувствовать себя та-

ким же сильным, как и раньше. Как нравится тебе заставлять и меня подчиняться тебе, выворачиваться наизнанку, потому что того хочется тебе. Может, тебе вовсе и не нужно это, а просто забавляет?

Он помолчал.

– Видишь ли, Дель, – он стал вдруг называть меня уменьшительным именем, хотя мне это не нравилось. – До сих пор я просил тебя о помощи, и был ласков, как бываю с теми, кто глупее и слабей меня, но если ты отказываешься помогать мне, выставляя свои требования – боюсь, придется поступить по-другому.

Он пошевелился и двинулся ко мне. Желтый свет, падая сверху, очерчивал его широкие кругловатые плечи, и тени, отбрасываемые шипами в бровях на его щеки, напоминали две острые чёрные царапины на месте покоящихся в темноте глаз. Асфодель почувствовал, как его сердце тоскливо и безнадежно шевельнулось. Так бывало, внезапно и с нелепой ясностью вспомнил он, когда в школе он приходил на урок в надежде посидеть за последней партой незамеченным, но следовало отвечать, и в напряженной тишине беспощадно и сухо звучало вдруг именно его имя, падало с губ учителя, как падает, ударяясь углами, с полки пустая коробка: Ас-фодель – и за этим следовала мучительная пустота, тянущая в животе.

Трикстер подошел к нему вплотную. «Не смотри, не смотри!» – громким шепотом закричал внутренний голос. Он и

сам это знал, он смотрел спокойно в пустоту поверх его плеча, обычного крепкого плеча в серой футболке. Ты спрашивал? Тебе было интересно? Сейчас ты узнаешь. Ты узнаешь не на словах, а на деле. Потому что никто не придет. Кто бы мог тебя спасти? Пьянчуги-мужчины и запуганные полные женщины-повара? Наверняка Джад сторожит дверь, даже если у кого-то случайно появится желание заглянуть в кладовку. Кончился сахар? Подождешь. Подождешь-шь, прошепчет на змеином своем языке долговязый Джад, глядя на тебя сверху вниз, и ты не будешь заходить сюда, у тебя вообще пропадет всякое желание сюда возвращаться. Где-то, еще подростком, он читал, что духи умерших любят возвращаться в то место, где их настигла смерть, и эта мысль почему-то смутно понравилась ему.

Трикстер не пытался поймать его взгляд. Он был милосерден. Хотя в чем-то. Он понимал. Я чувствовал только его спокойное дыхание. Тихое, очень теплое дуновение на коже. У меня возникло ощущение, что вместо внутренностей у меня сосущая пустота.

– Глупый Асфодель, – низко и тихо, почти ласково произнес Трикстер, – ты так ничего и не понял. Но в этом нет твоей вины. Я не садист. Мучения не доставляют мне удовольствия. Просто их смерть – это моя жизнь, и в этом тоже отчасти нет моей вины. Всем нравятся львы, несмотря на то, что их жизнь – плоть и кровь. А ты кормишь льва парным мясом через решетку. Вот и все.

Асфодель закрыл глаза. Он почувствовал, как сухие губы Триксера прикоснулись к его лбу, над переносицей. «Сопrotивляйся, – жестко полоснул его изнутри внутренний голос. Сейчас он бы стал бить его по щекам, если бы это было возможно. – Не дай ему подчинить себя. Не так легко. Хотя бы не сразу». Теплая скребущая щекотка охватила мои веки, глаза, череп, вот-вот он потеряет тонкую нитку, позволяющую стоять на ногах. А где-то, пронеслось в голове, Елисей, забравшись в кресло, катается от окна к окну, курит сигарету за сигаретой, с беспокойством осматривает один и тот же видимый из спальни кусок двора, он ждет его. Потом он захочет есть. Как скоро Елисея найдут, когда его уже не будет? И, главное, кому он будет нужен такой? И как скоро Хлоя, погрузившись при вести о его смерти и удивившись, как недолговечны ее друзья, сядет на всегда благодарные, всегда жаждущие ее колени, чтобы не вспомнить больше ни Марса, ни его? Как будто он, Асфодель, успел сыграть в ее жизни такую большую роль, что она будет тосковать о нем и помнить? Даже он мог сообразить, что нет.

Жужжащее напряжение, прокатившееся по всему его телу (лоб горел, его била мелкая лихорадочная дрожь), стал отступать. Не разжимая век, он услышал, также близко, в сантиметре от себя:

– Ты все-таки нужен мне, Асфодель. Ведь только благодаря тебе я еще жив.

Он сделал шаг назад.

Только сейчас я медленно открыл глаза. Трикстер не стал закрывать за собой дверь, и в кладовую проник яркий золотистый свет – не дневной, просто свет люминесцентных ламп в коридоре, которые включались так редко, но сейчас горели. Я почувствовал вдруг, какие у меня влажные ладони. Это был все еще я, и живой.

– Я сделаю то, что ты от меня хочешь. Но только при одном условии.

Он выжидательно поднял бровь. Серьга в ней остро блеснула:

– Каком?

– Если вылечишь Елисея.

– Дай подумать, – недовольно протянул он и скрылся.



## Глава 8

Трикстер и я вошли в нашу с Елисеем квартиру. Музыкант не хотел признавать мою небольшую победу над ним, просто, стиснув зубы, произнес: «Пошли, сделаю, что просил». Трюкач ориентировался у нас дома уверенно, будто уже был здесь раньше. Он не мешкая направился в комнату Елисея.

Признаюсь, я подсыпал брату в пищу снотворное, и сейчас, после завтрака, он снова крепко спал; золотые волосы разметались по подушке.

– Я хочу, чтобы он ничего не узнал, ну, о том, что мы делаем.

Трикстер улыбнулся, покачал головой:

– Как знаешь.

– Можешь ли попробовать излечить его, когда он будет спать?

– Поглядим.

Трикстер склонился над Елисеем, поцеловав его по своему обыкновению, в лоб, как он делал со всеми, чью жизнь хотел перелицевать под свою. Он стоял так, застывший, преклонив колени возле постели исхудавшего больного, очень долго. Трикстер выглядел странно смиренным, и тем необычнее смотрелся в этой молитвенной позе этот коренастый изрисованный чернилами и пронзенный серебром че-

ловек.

Наконец он оторвался от моего брата. Лицо Трикстера осунулось и посерело.

– Результат будет не сразу, но будет, поверь мне. Ты мне должен, Асфодель. Я и так оказал тебе большую услугу – и за неё я хочу жизнь человека, который далеко не так важен для тебя, как брат. Приведи мне эту бродяжку, что я постоянно вижу возле пекарни, Лизу.

– Только когда буду уверен, что ты не обманул меня, – выдавил я, смотря на спокойное лицо Елисея.

– Я никогда тебя не обманывал, – произнес Трюкач, похрамав к выходу.

\* \* \*

Елисей открыл глаза. Он очень долго спал, но, странно, при этом не помнил, как заснул и что ему снилось. Солнечный луч падал на его застеленную кровать: он лежал на ней в одежде – еще странней: давно прошло то время, когда он мог прийти домой поздно ночью и завалиться спать, не раздеваясь. Теперешняя его жизнь была сплошным аккуратным ритуалом: вечернее купание, при котором в ванну его закатывает молчаливый и внимательный брат, помогая ему переложить бесчувственную, но невероятно тяжелую нижнюю часть тела в воду. Затем, уже завернутый в махровый халат, этот груз, бывший когда-то мальчиком Елисеем, прибывал в тёмную спальню, где ему предстояло такое же механическое

погружение, только в уже расстеленную постель.

В дверь постучали. Это не мог быть брат, он всегда открывал дверь своим ключом – зачем беспокоить больного? Этот стук был несмел и вкрадчив.

Елисей быстро привстал, помогая себе локтями. Кто это может быть? В мире, где так мало развлечений, интересными кажутся даже такие мелочи. Он торопливо поднялся, руками спуская на пол непривычно легкие ноги. Коляска стояла рядом, как всегда наготове: неловкий момент в воздухе, напряженный локоть на ее ручке, и вот он уже плюхнулся на свой трон и, толкая колеса, поспешил в коридор. Негромкий стук повторился: хорошо, еще успею!

Преодолев невысокий порог, Елисей повернул, проехал еще немного прямо, нашарил в шкафу ключ и наконец открыл дверь.

На чудной девчонке была остроконечная зеленая шапочка, а поверх нее – авиационные очки.

– Боже, что это? – выдавил Елисей. Он недоверчиво улыбался.

– Мне всегда нравились всякие нелепые сувениры, которые продают на Уклоне. Я бы еще стащила космический шлем, да побоялась, заметят. Я и тебе захватила. Дай-ка пройти.

Елисей отъехал от распахнутой двери, и Хлоя тут же проскользнула внутрь, надевая на него патронташ.

– Ты с ума сошла!

– Это уже давно не новость. Как ты себя чувствуешь?

– Ничего... – на самом деле Елисей правда ощущал какую-то странную слабость. Он чувствовал, что в его бедренных костях засела какая-то неприятная, словно зудящая щекотка.

– Вставать не пробовал?

Улыбка на лице Елисея поблекла.

– Хлоя, ты, наверное, не понимаешь... это не игрушка, – сказал он, опустив глаза на блестящее колесо.

– Да. Это куча хлама.

– Ну что ж... хочешь чаю? – спросил Елисей, закрывая за девушкой дверь.

– Нет, не на кухню. Пошли к тебе в комнату.

– Но...

– Ты здесь хозяин, а я гостя. Гостей нужно встречать как следует! – улыбнулась она. – У тебя есть что-нибудь выпить? – спросила Хлоя.

– Асфодель не разрешает мне.

– Правда? А я бы на его месте разрешала тебе всё – ведь ты и так почти всего лишен.

– Мне нравится эта идея, но ты тоже в прошлый раз не достала для меня аптечку.

– Только лишь из-за того, что с мертвыми мне скучно, – уголки ее бледно-розовых губ едва заметно приподнялись. – Я думаю, твоему брату нравится командовать тобой. Ну что плохого, если мы выпьем немного, у нас же нет никаких

срочных дел, верно? Устроим пикник, – с этими словами Хлоя с невозмутимым видом достала два хрустальных бокала из наплечного мешка, стянула с кровати плед, положила его на пол и села, похлопав рядом.

– Ну что ж, у меня кое-что припрятано, – ухмыльнулся Елисей. – Пошарь под кроватью.

– Хозяин дома сам должен угостить даму, – с напускной серьезностью произнесла девушка.

Елисей неловко сполз с коляски. В этот момент ему оказалось, что его правая ступня чувствует холодок паркета. Бутылка была все там же, у изголовья под половицами. Он быстро открыл ее и наполнил бокалы.

– Как это произошло с тобой? – спросила Хлоя, кивнув в сторону его коленей.

– Не хочу об этом говорить.

– Ну... расскажи тогда о том, что ты чувствовал тогда.

– Хлоя, зачем ты пришла?

– Асфодель и Трикстер постоянно заняты теперь в пекарне. Мне просто скучно. Кроме того, ты сам сказал, что мой портрет еще не закончен.

Рисунок стоял здесь же, прислоненный к стене. Хлоя была изображена на нем, сидящей на стуле посреди цветущего луга. Елисею хорошо удалось ухватить загадочный взгляд ее голубых глаз и хитроватую улыбку.

После паузы Елисей наконец заговорил:

– Да рассказывать особо нечего. Мы с Делем заелись с ка-

кой-то уличной компанией. Их было больше, мы кинулись наутек, забежали в какое-то подъезд, я побежал вверх, меня догнали... Помню уже только, как меня переносили, странно, что я был в сознании. И как готовили к операции, переодевали. Пока ты в своих, привычных вещах, ты еще принадлежишь этому миру, в тебе еще теплится слабая надежда, что все обойдется, как бы глупо это ни было. Но когда с тебя в мешке из холодного кафеля снимают абсолютно все и надевают странную больничную робу с завязками на груди – ты уже клиент совсем другого места. Тебя можно готовенького хоть в палату, хоть в реанимацию, хоть в морг. Он помолчал. Ты знаешь, что в реанимации все, и мужчины, и женщины, лежат на столах голыми, в одной палате? Просто тут уже не до стеснения, да и они все равно ничего не видят. Как-то однажды утром нам сказали, что мужчина, которого привезли одновременно со мной, скончался там. Помню, все мы некоторое время молчали, как бы негласно решив почтить его память... но сколько там произошло беззвучных, будничных смертей.

Еще я помню, что в 16 лет мне по-настоящему хотелось умереть. Я шел по улице, смотрел на смеющихся людей, и мне, как инопланетянину, было непонятно, зачем они это делают. Зачем продолжают это бесконечное и бессмысленное занятие – жизнь, ведь я решительно не понимал, как это может доставлять кому-то радость! Но кроме этой мысли в моей голове копошилась еще одна, не менее противоречивая –

попробовать испытать все, чего я еще не успел, прежде чем умереть. Неизведанными были в первую очередь алкоголь, курево разного рода, и, конечно, девушки. Преодолев обычную горькую сигарету, я начал курить, и это расслабляло, делало голову легкой, так делали все, и даже ты. Я пробовал крепкие напитки – и они кружили мне голову как никогда сильно, пару раз предлагали марихуану – я не отказывался, но никакого восторга не испытал и не стал экспериментировать в этом направлении. Но я все еще оставался девственником, и это смутное, дурацкое любопытство, наверное, причина того, что я до сих пор жив – правда, смешно?

Разумеется, несколько минут барахтанья в постели, которые не запомнили из-за выпитого ни я, ни моя подвернувшаяся под руку подруга, ничего не перевернули у меня в голове. Казалось, теперь ничего не стояло на пути между мной и смертью, которую я продолжал сладко и глупо лелеять, потому что мои мысли тогда ничего больше не занимало. Я бросил школу, может, просто потому, что не видел в ней никакого смысла, а в себе – какого бы то ни было таланта, достойного развития. Я спал до полудня, лежал в постели и слушал любимую музыку, когда вечерело – я шел на место встречи обычной нашей братии. Денег у нас почти всегда не было, и раздобыть их было самым забавным развлечением. Ты помнишь, как мы это делали: чаще всего играли на гитаре, а я ходил со шляпой и улыбался прохожим. Впервые в жизни я понял, для чего годна моя бабская мордашка: деньги ки-

дали в шляпу охотно и щедро, вместе с жетонами метро и шоколадками. Бывает, мы втихую умыкали какую-то безделушку с лотка уличных торговцев и продавали ее туристам. Потом шел черед главного развлечения: среди чинных бутылочных рядов выбирались самые скромные и крепкие их собратья, вечные друзья бедняков: квадратные пакеты винных выжимок со спиртом, непременно названных романтическим женским именем, пара бутылок портвейна, яблочное вино – помнишь, «им невозможно отравиться, потому что там только гнилые фрукты и спирт»? С веселым предвкушением мы шли на задворки старых домов, ставили свое богатство на каменную кладку, садились рядом с гитарой – «есть курить?». Кто-то вечно брэнчал один и тот же десяток песен, которые все знали наизусть и беспрестанно подпевали заводиле, все смелее и громче по мере того, как без стаканов, просто из горлышка глотали восхитительную дрянь, а она превращала наши жалкие мозги в розовый водоворот, день за днем. Есть нечто волнующее в том, как множество губ прикасается к одним горлышкам перед тем как осмелеть и слиться друг с другом. Девчонок охотно усаживали к себе на колени. Полы наших плащей и затасканных кожанок всегда были гостеприимно распахнуты для этих ночных глуповатых красавиц, чёрно-одинаковых, которые от вина становились смелее и нам казались прекрасней. У меня уже не будет семьи, мне не сидеть в тапочках перед телевизором в обнимку, да меня от этого и тошнит. Так что самое сладкое,



что со мной могло случиться – это заполучить в плен плаща на двоих замерзшее и щуплое, незнакомое тело, льнущее к тебе сначала робко, а потом, под твоим напором и ласками – почти умоляюще. Да, никому я так не благодарен, как тем безымянным десяткам губ, готовых немедленно и ко всему, ничего не требующим, кроме тебя самого, послушно немым и вечно безымянным тщедушным телам. Просто чудо, что я ничем не заразился. Но именно они, сами того не зная, как от яда, очистили меня от этих детских и непотребных мыслишек о смерти. Ну вот, я выговорился, не знаю, зачем я все это рассказывал... Теперь твоя очередь исповедаться, – улыбнулся Елисей.

Но девушка только молча отставила бокал, подползла к нему и поцеловала, прижалась всем телом.

– Хлоя, я не уверен, что смогу, – растерянно пробормотал Елисей.

– Ш-ш, ты ничего не должен делать, – прошептала Хлоя, склоняясь над ним.

\* \* \*

Все это время меня не покидала мысль, что же именно хотел показать мне Трикстер, когда мы должны были спуститься в подвал, а лифт внезапно застрял. Не может быть, что он хотел просто убить меня. Во-первых, я был ему еще нужен, во-вторых, если он хотел, это можно было бы сделать и в другом месте. Как мне до сих пор не пришло в голову про-

верить подвал самому? Знал я и ответ – из-за страха темноты я все тянул с этим. Но больше времени терять нельзя. Взяв фонарик, я спустился вниз в тесной коробке лифта. На этот раз он сработал как следует, растворив свои двери в тёмную бездну подвала. Фонарь разу же осветил белые стены, мешки с мукой, какие-то ящики. Я медленно двинулся дальше. Свет фонарика прыгал, и мне все время казалось, что впереди сереет фигура трикстера прислужника из онейрона, сгорбленная, с открытой пастью, или сам он, со своей ужасной улыбкой. Вдруг за закрытыми дверями я услышал какой-то шорох. Крысы?

– Кто там? – спросил я. Ответа не было. Тяжелые секунды тянулись во враждебной темноте.

– Асфodelь? – Послышался наконец слабый голос.

– Алленби? – Не поверил я своим ушам.

На всякий случай достав нож, я открыл дверь. Да, там, на грязном полу, исхудавший, невероятно истощенный, лежал настоящий хозяин пекарни, Алленби.

Когда тот, кого я называл приемным отцом, немного пришел в себя, я, чтобы не попасться на глаза Трикстеру или Джаду, вынес его из пекарни доставил к нему в квартиру. Мы надеялись, что Трикстер еще не знает, где она. С помощью Джада трюкач заключил его в подвале и, возможно, потом хотел воспользоваться им тем ужасным способом, о котором я уже знал.

Но Алленби рассказал мне нечто даже более невероятное и ужасное, если такое вообще могло существовать: он знал Трикстера и утверждал, что он и Хлоя – два человека в одном теле, которое просто менялось в зависимости от того, какие цели преследовал трюкач. Когда-то, говорил мой учитель, Трикстер спас Хлою от смерти, но поддерживать два тела оказалось слишком изнурительным, поэтому эти два существа приняли такой вид.

– Алленби, я не верю! Она выглядит такой... настоящей!

– Ты все еще веришь тому, что происходит? – грустно спросил мой осунувшийся друг. – Вспомни только, приходилось тебе когда видеть их вместе, а не поодиночке?

Я старался ему возразить, но не мог. Обычно я не замечал этого, но, вспомнив наши встречи, понял, что Трикстер и Хлоя действительно никогда не появлялись вдвоем!

Теперь мне стало в каком-то смысле легче – мой страх обрел лицо. У него были иглы вместо глаз, жала на месте души, плоть, жадно и непрерывно требующую насыщения, и я, став примерным слугой и даже учеником своего страха, послушно кормил его. Но все же я был благодарен Трикстеру, ведь всегда боишься меньше, когда знаешь, что именно страшит тебя во тьме.

Но что же с Хлоей? Это не укладывалось в моей голове, хотя я уже начал понимать, что для каждой детали этой головоломки существует паз, в который она идеально войдет. Но неужто могло такое случиться, что пока я мучался при-

думанными страхами, то не заметил главного – древнее кроважадное чудовище, которому я сам открыл дверь своего дома, спит в одной со мной комнате, более того, в одном доме с беспомощным, беззащитным Елисеем? Которого я должен был оберегать, как только мог? Нет, это было уж слишком. Алленби не мог быть сейчас прав. Не должен был.

Самое ужасное, что я уже выполнил уговор, заключенный между мной и Трикстером: привел Лизу под предлогом того, что ее покормят, в Дом ирисов. Перед этим я заглянул в ее глаза – Трикстеру нечего было бояться – у нее впереди была бы долгая жизнь, и он спокойно мог прожить ее вместо девочки, долгие годы не опасаясь смерти. Люди, которых убивал Трикстер, не были обезображены, и в этом и крылась западня: они не казались насильственно убитыми, их тела не были страшны, в их лицах не было боли и страха. Они становились просто бледными и умиротворенными, как странные, но прекрасные куклы, как путешественники по своим снам во время медитации. Трикстер просто положил руки на ее плечи, долго смотрел на нее своим тяжелым взглядом, а потом подарил поцелуй в лоб, от которого я сам недавно чуть не умер.

Лиза, ее тихий смертный сон на грязной постели брошенного дома, измаранная игрушка, лежащая рядом с ней... Этот спокойный и беспощадный бог так ласково с ней общался – чтобы она не ночевала на улице, не выпрашивала деньги у прохожих...

Вот и всё. Лиза выглядела так умиротворенно, что смерть можно было принять за сон. Хотя кого я обманываю? Даже Марс не вынырнул из такого сна – сильный, здоровый парень, так чего же должна была она?

Заглянув в глаза отходящей девочки, я понял – смерть Лизы должна быть связана с ножом, резаными ранами. Сколько раз я просил ее не гулять одной, не связываться с подозрительными компаниями... но разве я мог за ней уследить? Мне иногда начинало казаться, что все люди на земле – это сироты, просто оставленные без присмотра дети. Хлоя ведь также явилась мне умирающей от раны, нанесенной чем-то острым, как и Лиза, притом та была словно уменьшенной копией Хлои, словно ее младшей сестренкой. Я хорошо успел почувствовать эту разрывающую боль, от которой мучительно перехватывает дух. «Я сделал это ради брата, ради Елисея», – тупо повторял я себе. Внутренний голос молчал, он словно стыдился меня, и был прав, ох как прав.

В тот день, когда Лиза все-таки оказалась на постели в Доме ирисов, а Елисей, которого я оставил утром в коляске, все-таки не мог даже стоять без моей помощи, а у Трикстера был такой самодовольный и сытый вид, я точно помню, что принял решение. Мне нужно было убить его, не боящегося смерти и даже бойко торгующегося с ней, чего бы это ни стоило. Ведь Трикстер, по сути, забрал у меня все: мою работу, где мне было больше неприятно находиться, где я чувствовал гудящую усталость и больше никакого вдохнове-

ния; и моего брата, который теперь постоянно был для меня только голосом за закрытой дверью.

Придя домой, я сразу направился в ванную, долго смотрел на себя в зеркало и мыл руки так тщательно, пока они не покраснели и не начали болеть. Хотя, что толку? Свои преступления я совершал не вручную. Они все были у меня в голове, засели там, и их было не достать, не исправить. Самое страшное, что когда она смотрела в мои глаза, то еще надеялась. Она схватила меня за руку так, будто ждала, что я ее спасу, защиту от Трикстера, этого жирного паука, вытяну из смертельной паутины. Она не знала, что я уже предпочел ей своего брата, выменял ее на половину человека, чтобы тот стал целым...

Зайдя на кухню, я обнаружил на кухне несколько пустых бутылок вина, гору грязной посуды и разбитые стаканы. Хлоя вышла из комнаты Елисея.

– Чего это ты тут распоряжаешься? – раздраженно спросил я.

Она словно не слышала моего вопроса и стала глядеть в окно, где мимо серой стены проплывали мохнатые тучи. Её всегдашняя безучастность сейчас ужасно разозлила меня. Я подскочил к ней и с силой развернул к себе:

– Ну, чего молчишь?

Ее взгляд внезапно исполнился злой насмешки, накрашенные губы искривились.

– Слишком поздно, – прошипела она, приблизившись к

моему лицу, как это делал и Трикстер. – Ты не замечаешь, что и тобой уже распорядились?

– Не трогай моего брата.

– Я трогаю кого хочу и когда хочу! – отчеканила она.

– Уходи, я не хочу тебя здесь больше видеть.

– Ну и ладно, Елисей все равно впустит меня, когда ты уйдешь, – с тихим смешком произнесла она, проходя мимо меня, надевая пальто. Его чёрная пола лизнула меня по ноге.

Я чувствовал, как в ней плещется веселое злорадство. Но важно было не поддаться ей.

– Хлоя... зачем ты так себя ведешь?

Она на мгновение застыла, вдруг посерьезнев, и произнесла:

– Говорят, надо жить каждый день как последний, вот я так и стараюсь. И вот как выглядит такая жизнь.

– Всё могло бы быть по-другому, стоит тебе только захотеть. Что мешает тебе наполнить твою жизнь смыслом, тем, что важно именно для тебя? Делать то, что нравится тебе?

– А что я, по-твоему, могу делать? Поступить в институт? Завести детей?! Если честно, я бы просто хотела умереть, но ОН мне не даёт!

С этими словами она быстро выбежала, не дав мне больше ничего сказать.

Хлое нравится ходить по мягкой влажной траве босыми ногами, но она терпеть не может песчинок, попавших в ботинки. Ее любимые цвета чёрный и серебряный, а желтый

она почему-то терпеть не может. Хлоя пьет сладкий кофе, вдвое разбавленный горячим молоком, и очень мало ест – всегда только отщипывает маленькие кусочки. Она с удовольствием пользуется терпкими духами старой женщины. У нее в груди часто скребется желание выкурить сигарету с фруктовым табаком, как у детей – съесть леденец. Она любит ветреную дождевую погоду, смотреть на линияло-зеленый луг и свинцовое небо, и чтобы ветер трепал ее старенький плащ – словом, вся эта дешевая романтика; она ненавидит долго сидеть на одном месте. Ей и не приходится.

Хлое нравятся люди, но как-то по-животному: их запах, прикосновения, сонное ощущение их тела, прижатого к ее боку. Из-за того, что она не может оставаться в одиночестве, ее можно назвать распутной.

Она – существо по-кошачьи теплолюбивое, предпочитает нежиться в чем-то мягком. Но ее хозяин, который по иронии судьбы, когда дело доходило до удовлетворения Хлоиных прихотей, был и ее слугой. Мы все: я, Елисей, Марс, Джад, Трикстер, если подумать, были ее служителями. Странно, как изнеженная властность этой девушки сразу находила желающих ей подчиниться.

Когда она заходит куда-либо, то сразу беспечно сбрасывает с себя одежду – и по этой сброшенной коже легко найти, где она. Если за ней не следить, то она, подобно ребенку, разбрасает и растеряет всё, что у нее есть, нисколько не заботясь о своих вещах. Хлоя – не человек. Эта девушка толь-



ко другая, красивая половина Трикстера, которой он оборачивается к людям, чтобы завлечь их и убить.

Она была словно маленький неумолимый Наполеон, с той лишь разницей, что в ее армию все вступали добровольно.

Плавная чёрная магия ее движений, ее расслабленная готовность словно созданы, чтобы убаюкивать мою бдительность. На следующий день Хлоя молча подошла ко мне и обняла, ища моего взгляда, хотя знала, как мне это больно. За ухом у нее небрежно лежала сигарета. Привычными мягкими движениями она принялась гладить мои спину и плечи, но это вязкое притяжение Хлои на сей раз не подействовало на меня так, как в первый раз, в душной сумятице кладовой. Теперь я все не мог отделаться от мысли, что это была на самом деле не она, а трюкач в ее подобии. Хлоя собралась было запустить свой язык мне в рот, но я оттолкнул ее. Она непонимающе захлопала глазами – почему?

– Надоело быть вашим подопытным кроликом. – Трикстеру я нужен был затем, чтобы питаться, а Хлоя была призвана удерживать меня при нем.

– Правда? А раньше тебя не смущали кроличьи занятия, – холодно проговорила она, присев на край стола и роясь в своей полотняной сумочке.

– Тогда я еще не знал, что мне придется делать для вас.

– Да, Асфодель? После того, как Марс умер, а Елисей внезапно получил способность двигаться, хотя на это уже не было никакой надежды, ты думал, что будешь должен за это

Трикстеру только, не знаю, – пару булок?!

Ей, наконец, удалось выудить зажигалку из сумки. Она прикурила быстро, раздраженно, с вызовом посмотрев на меня. Чертовка, в этот момент я явственно ощутил, что ненавижу ее. Блудливая приспешница жестокого бога, требующего кровавых жертв, она явно грелась у огня его власти. Я вышел, ничего не ответив ей – я действительно не знал раньше, к чему может привести моя сделка с Трикстером. И Елисей еще даже не вставал на ноги, несмотря на обещания Трюкача. Все, что они говорили, было ложью.

–

Тебе лучше уйти, – выдавил я.

Она недоуменно посмотрела на меня и вышла.

Стараясь забыть разговор с Хлоей, я принялся делать то, что умел лучше всего – замешивать тесто и выпекать хлеб. Сейчас это было единственным, что удерживало меня в равновесии.

Когда тесто в моих руках перестало быть липким и сделалось приятно податливым, дверь за моей спиной отворилась и Хлоя вновь тихо проскользнула в комнату. Она робко поцеловала меня в плечо и произнесла так тихо, что едва можно было разобрать: «Прости меня. Думаешь, я не понимаю, каково тебе, а мне это известно лучше всех».

Что я мог ответить ей – «это правда, что ты всего лишь другая маска Трикстера?». Она бы рассмеялась мне в лицо. Сейчас мне совершенно не верилось в слова Алленби. Да,

она была странной, но такой живой, ранимой и особенной.

\* \* \*

Елисей уже накинул куртку, придерживаясь за край стола, когда в дверь постучали. За ней стоял небритый мужчина с серьгами в бровях.

– Привет, Елисей. Я друг твоего брата и Хлои.

– Почему я должен тебе верить, Оззи?

– Не должен. Но, если честно, у тебя нет выхода.

– Это почему же?

– Понимаешь... боюсь, что Алленби хочет превратить твоего брата в фанатика. Он внушил ему, будто я какое-то чудовище, высасываю из людей все соки. Я пробовал сделать так, чтобы Асфодель не виделся с ним, но все произошло за моей спиной...

– Я знаю Алленби – он озабочен тем, чтобы всем было хорошо, что невозможно. Но он уж точно не фанатик.

– Ты можешь не принимать меня всерьез, но ты обязан мне... все-таки, я вылечил тебя.

– Да что ты городишь!

– Пожалуйста, выслушай меня, – Трикстер придержал дверь, которую Елисей уже было хотел захлопнуть.

– Я бы с радостью рассказал бы тебе все раньше, но твой брат... Он не хотел, чтобы ты узнал о нем слишком много. Мне же нечего от тебя скрывать.

– Хм, ну так расскажи мне. Я никуда не спешу.

\* \* \*

В эти дни мне приходилось метаться между четырьмя домами, где я был нужен: собственным, там я помогал Елисею, квартирой Алленби, где он поправлялся после подвала, пекарней и Домом ирисов.

Когда я пришел к Алленби, он выглядел гораздо лучше и уже твердо стоял на ногах. Он изъявил желание встретиться с Трикстером.

– Вы с ума сошли, – сказал я, – он уже один раз чуть не убил вас. Он опасен.

– Я знаю. Но мне надоело прятаться, – серьезно сказал он. – Терять уже больше нечего.

Мне не понравилась эта затея, но, думаю, Алленби и Трикстер должны были в конечном итоге снова встретиться – не как жертва и мучитель, но как темный и светлый хозяева, в настоящем мире ставшие владельцем пекарни и рок-музыкантом.

Мы вошли в пекарню. Трикстера нигде не было видно. Алленби негромко произнес: «Что бы он ни говорил, не поддавайся. Ты ведь уже понял, как он может морочить, и сколько у него для этого уловок».

Мы решили подождать в моей рабочей комнате, так как именно туда Трикстер чаще всего заходил, чтобы поговорить со мной. И вскоре он действительно вошел в комнату своей обманчиво расслабленной шатающейся походкой. Он был

очень бледен, солнце бросало блики от его острых серег. Музыкант казался спокойным, готовым в любой момент вспыхнуть едкой иронией, но в глубине его тёмных глаз плескалась опасность.

Алленби стоял, скрестив сухие руки на груди, как бы невзначай прислонился к столу, за которым я обычно работал – Я чувствовал, это потому, что он еще очень слаб. Однако он глядел строго и серьезно, выпрямив спину. Чувствовалось, что он истинный хозяин этого места. Трикстер не подал виду, что удивлен освобождением своего пленника.

– Алленби! – начал Тикстер, стараясь, чтобы его голос звучал непринужденно, – рад видеть тебя вновь в добром здравии.

Тот только криво улыбнулся – мы все без слов понимали, насколько лицемерной была эта церемонность.

– Трикстер, мы пришли поговорить с тобой начистоту, – выпалил в волнении я.

Трикстер, также нацепив благообразную насмешливую ухмылку, подошел ближе к нам.

– Собрали семейный совет, чтобы отговорить лису душить кур? Что ж, попробуйте. Это напоминает мне, как давно, уже много лет назад, мы впервые познакомились с матерью Асфоделя. Не так ли, Алленби?

– Что?! – сказал я оторопело, повернувшись к Алленби. В горле у меня тотчас пересохло.

Алленби успокаивающе протянул ко мне руку

– Успокойся, Асфодель, помни, о чем мы говорили.

– Вы наверняка обсудили не всё, как я погляжу. – Сказал Трикстер, принимаясь по своему обыкновению расхаживать по комнате. Он будто вообразил себя на сцене во время одного из своих шаманских рассказов под гипнотизирующую музыку. Я стал между Алленби и Трикстером – мне казалось, что несмотря на своё внешнее спокойствие, Трикстер в любую секунду готов броситься на хозяина пекарни. – Так вот, если твой дражайший наставник не желает поделиться с тобой подробностями твоей же жизни, это сделаю я, а ты уж сам решай, кто из нас плохой. Он выждал паузу, резко перестав мерить комнату шагами, и развернулся ко мне.

– Твоя мать наверняка предчувствовала, что ее сын, старший сын, во многом похожий на нее, к ее глубокому сожалению, унаследует ее дар. И рано или поздно окажется в комнате между старым упырем – это я про себя, понятное дело, – и праведным книжочеем, который тем не менее предпочитал все это время держать парня в абсолютнейшем неведении относительно того, какими винтиками скручен этот расхлябанный мир! Что и говорить, даже собака грустит, чувствуя, что ее щенят несут топить. И вот, когда она осознала, что в таком случае шансов у ее сына сохранить жизнь и рассудок практически нет, она...

– Да что ты городишь, подонок. – негромко процедил Алленби. Он был сердит и явно взволнован. Я быстро переводил взгляд с него на Трикстера.

– Твоя мать тоже была зрячей, Асфодель. – невозмутимо произнес этот трюкач.

– Алленби, это правда? И ты всё это время молчал?..

Алленби смотрел на меня с досадой, поджав сухие губы, но, насколько я мог ощутить, не чувствовал своей вины.

– Может, ты знаешь, что с ней? Скажи! – спросил я Трикстера с осторожной надеждой.

– Асфодель, не смею больше отвлекать вас от темы. Ведь это вы хотели рассказать мне о чем-то, верно?

Повисла тягостная пауза. Трикстер откровенно забавлялся возникшей сценой, как обычно – эмоциями своих зрителей на концерте.

Я попытался взять себя в руки.

– Трикстер, мы позвали тебя, чтобы сказать – я больше не буду играть в твои игры после того, что ты сделал с Алленби.

– Понятно. Тогда я заберу то, что дал Елисею. Асфодель поймет, Алленби, мы же тут без тебя уже успели сдружиться.

Триксер, отвесив издевательский поклон, победно удалился.

Стоило только двери захлопнуться, я кинулся к Алленби:

– Как ты смел утаить от меня правду о маме?

– Асфодель, я не хотел тебе зла. Видит бог, ты мне как сын. Я думал, если ты не узнаешь об этом всем, этого с тобой, возможно, и не произойдет!

– Ты сделал только хуже.

– Послушай, ведь он этого и добивается: посеять между

нами раздор.

– Ты сам его посеял, когда врал мне все время, что я считал тебя отцом! – с этими словами я опрометью выбежал из комнаты, но вскоре опомнился – Алленби больше нельзя было оставлять одного в пекарне, где еще мог быть трюкач.

\* \* \*

– Дело вот в чем, – сказал как-то Елисей, вертя в пальцах куцый карандаш, – в тебе это либо есть, либо нет.

– О чем ты?

– Талант. Склонность. Необычность. Пассионарность, в конце концов. Ты или уже такой, или уже никогда таким не будешь. Невозможно зубрить, старательно учиться, ночей не спать, чтобы из обычного человека однажды превратиться в кого-то особенного. Ты просто станешь более опытной посредственностью.

– А ты говоришь так уверенно, будто считаешь, что к тебе это точно не относится.

– Почему же – я к себе строг и не думаю, будто чего-то стою. Можно сказать, я всегда был половиной человека, до семнадцати лет – в переносном смысле, а после – в буквальном.

– Ну, это ты уж слишком. Говорят же, что каждый человек особенный.

– Я тебя умоляю, так считают те, кто хочет себе польстить в перерыве между двумя любимыми занятиями – едой и



сном. Вот уж особенные увлечения, не права ли?

– Хорошо, а можно ли наоборот – из необычного человека превратиться в посредственность?

– Думаю, да. Во всяком случае это гораздо легче из себя вытраивать – пить, например, или просто не создавать ничего нового, перестать размышлять. В общем, всячески заглушать в себе голос разума. Хотя гению ведь ничего не стоит просто притвориться обычным человеком.

– Что, думаешь, правда просто?

– Конечно. Что может быть проще, чем быть, как все? – сказал Елисей, хитро и весело улыбаясь. Он явно потешался надо мной.

Потом он попросил дать ему руку и медленно, неуверенно поднялся. Сам. Вместе мы пошли по кухне шагов пять, но и это была победа. У Елисея был радостно-удивленный вид, который я, наверно, запомню на всю жизнь.

А потом к нам зашла Хлоя, и Елисей выразил желание идти гулять. Я на всякий случай взял его кресло, а Хлоя придерживала его, когда мы спускались на лифте. Было необычайно тепло, не так сыро, как в вечер события в клубе. Но не успели мы пройти и двадцати метров, как с неба начали падать крупные капли дождя. Я сказал, что надо возвращаться, но Елисей отказался наотрез. Под грохот грома он, удивленный и радостный, даже сбросил с себя рубашку и начал танцевать, не обращая внимания на потоки воды и молнии, которые были словно вспышками невидимого фотогра-

фа, стремившегося запечатлеть такое удивительное событие. Хлоя тоже бросилась за ним. У нее была удивительная способность вписываться в любую ситуацию, с готовностью ассистентки артиста вживаться в любую роль. И вот она, сбрасывая с белых ног ботинки, уже бежит за Елисеем с веселым криком. Я хотел было предостеречь его, чтобы не разгуливал под этим ливнем, который только кажется теплым, но когда брат повернулся ко мне, в его глазах было столько радости, что я ничего не сказал.

Я зашел домой, чтобы принести плед, а когда вернулся, увидел, как Хлоя обняла Елисея и прижалась к нему. Она встала на цыпочки, чтобы дотянуться до его губ. В постоянных попытках помочь им обоим, каждому из них, я даже не заметил, что был им, по сути, не нужен.

\* \* \*

Я чувствовал, что во мне играет тихая мелодия, похожая на вальс. Она легко парила и кружилась в моей голове. Мне было хорошо, спокойно на душе впервые за долгое время. Я лег на кушетку в кухне и закрыл глаза.

В окно струился первый весенний воздух, прохладный и свежий, удивительно пахнувший легкостью, еще только предчувствием свежей листвы и божьих коровок. Мне представилось, будто я не в нашей городской квартире, всегда глухой, пропахшей несчастьями, а на летней веранде нашего старого дома.

Он теперь давно в прошлом, как и пухленький пятилетний херувим Елисей, сосредоточенно строящий башенки из камушков в палисаднике, но я прекрасно помню этот дом – запах рассохшихся, выморенных солнцем и ветром досок, молодой листвы, протягивающей зелененькие пальцы через перила, густой запах влажной земли и цветов, мускус от старых кресел, даже бесстрастный аромат парафина от свечек в старых мутноватых банках, расставленных по балкам. О, царство желтых огуречных цветочков, которые мы с тайным чувством вины срывали для игр, сизых мокриц и торжественных капустных голов! Как может что-то реальное стать сейчас таким призрачным? Свежесть и свобода была в этом далеком утреннем воздухе, невозможное и навсегда, казалось, утерянное сокровище для меня, забравшегося тогда в великоватых штанишках с ногами в потертое, еще холодное после ночи кресло.

Порыв холодного ветра ворвался в комнату – рама задрезжала, всколыхнулись листья мертвого растения на подоконнике. Я закрыл окно.

– Так это оно? Твоё «тайное место»? – тихий голос все же заставил меня вздрогнуть – Хлоя была здесь, неслышная, но прекрасно ощутимая, как сквозняк.

– Что? – На ней была серая растянутая майка и тёмные легкие брюки. Хрупкие ключицы, на предплечье небольшой синяк. Она была босиком, маленькие ступни, чёрный облуп-

пившийся лак на ногтях. Скорее всего, она вышла из комнаты Елисея, запоздало сообразил я.

– У каждого должно быть свое секретное место, где всегда безопасно. Мне нравится, как ты говорил, лежа с закрытыми глазами. Извини, если помешала.

– Ничего. Я так, вспоминал. Иногда путаю, что говорю вслух, а что про себя.

– Скверная привычка. – Она расслаблено прошла к окну и остановилась, глядя наружу. Солнце косо падало на серую стену дома. Разглядывать там было особо нечего, но она продолжала смотреть перед собой.

– А у тебя есть свое тайное место?

– Да, – сказала она без определенного выражения.

– И где оно?

– Здесь, – она обвела руками комнату, посмотрев вверх, на серый потолок. Хлоя улыбалась.

Такой разговор с ней приснился мне, когда я свалился на свою постель после нашей прогулки, праздника Елисея, и моя одежда была еще влажна от дождя. Со все еще тяжелой ото сна головой я вышел на кухню.

Хлоя еще спала, свернувшись калачиком, совсем как в ее первый визит сюда. Ее сомкнутые веки были окрашены смазавшимися серебристо-чёрными тенями. Как худы, как трогательны поджатые голые ноги.... Лямка нечистой майки сползла, обнажая выпирающую ключицу. Как она все-таки худа, но и прекрасна. Я просто не мог на нее сердиться,

что бы она ни вытворяла. В конце концов, я всегда знал, какая она, и это не мешало мне ее любить, даже если она не обращала на мои чувства совершенно никакого внимания. Мы ничего не обещали друг другу, просто я цеплялся за нее непонятно зачем, но и она нуждалась во мне, какой бы капризной ни была. Хлоя хотела поставить моего брата на ноги, ее забота перетекла в нечто большее – у меня просто не было сил на нее сердиться, хоть я и понимал, что она этого заслуживает. Господи, думал я о ней с какой-то болезненной нежностью, – разве могут быть у человека такие тоненькие ножки? А такие густые и неправдоподобно чёрные волосы? Нет, Алленби не мог быть прав! От заключения в подвале у него, должно быть, временно помутился рассудок. «А я, – внезапно пронеслось в голове, мог бы и ее растить и учить, как Лиса». «Ну да, – проснулся голос, – она и без тебя выросла такая же, как Лис – любитель выпить и завалиться спать, и, желательно, не в одиночку».

«Многодетный отец-неудачник», – улыбнулся я собственной непроизнесенной шутке. А Елисей? Конечно, ему приходилось нелегко все это время, постоянно сидеть и ждать меня. Но он не мог не заметить, как отношусь я к Хлое, и что со времен Дианы я ни к кому не чувствовал подобного...

– Красивая, правда? – только сейчас я заметил, что Елисей стоял сзади, опираясь на дверной косяк, и тоже смотрел на девушку из-за моего плеча.

– Она очаровала нас, чертовка. И что в ней такого? А, Ас-

фодель? Ну что в ней особенного?.. Знаем ли мы, сколько ей лет? Что ей нравится, чего она боится?..

– Все это кажется неважным.

– Да. Но что тогда важное?

– Ну, не знаю... Что ты снова можешь ходить, например. Радуюсь жизни... Спишь с моей девушкой.

– Асфодель... Знаю, я должен бы чувствовать вину, но ведь ты сам знаешь – она никогда не была твоей. Она нравится мне, я – ей, что в этом плохого? К тому же, впервые за долгое время я не чувствую себя одиноким.

Следовало ли мне в тот момент сказать, что он снова обрел способность двигаться только лишь из-за меня, из-за того, что я решился принять помощь Трикстера, пожертвовав Лизой? Может, я просто убедил себя в том, что это Трикстер помог ему? Возможно, он и сам уже был готов встать на ноги?..

– Ты не понимаешь. Она не может кого бы то ни было любить. У нее внутри дыра размером с минное поле, – глухо сказал я брату.

– Хм, а я думал, они все так устроены.

– Идиот! Я вообще не хочу ее с тобой обсуждать.

– Почему? Хочешь сказать «Она не для тебя»? Твоя девочка. Твоя герла.

– Не говори так.

Его дрожащие ухмыляющиеся губы приблизились к моему лицу. Он дразнил меня, нарочно провоцировал со сла-

денькой улыбкой, как бывало в детстве.

– Твоя телочка. Твоя чика. Как их сейчас еще называют? Я так давно не выходил из дому. Кто, интересно, в этом виноват?

Братец, а ты взрослеешь. Глядишь, из тебя выйдет не только прачка. Но ты должен был сразу предупредить меня, что не хочешь делиться со мной своей...

Внезапно его торс резко свернулся в сторону, и он рухнул на пол ничком с отвратительно мягким хрустом, прежде чем успел выплюнуть очередное грязное слово. Я заметил, что вместо костяшек пальцев у меня бело-красные ссадины. Меня словно накрыла волна ярости, перехватив горло и давя изнутри. Наверно, впервые в жизни я ударил его со всей силы, даже не подумав ослабить удар. В течение одной секунды мне было совершенно не жаль того ублюдка, который был моим братом. Эту удивительно долгую секунду я смотрел, как он вяло шевелится на полу, пытаюсь подняться. Руки, его почти единственная опора, были накачаны, и он легко оттолкнулся ими от пола, точно просто решил сделать пару отжиманий. Это показалось мне таким глупым, что я едва удержался, чтобы истерически не хихикнуть.

Наконец он медленно повернул ко мне взъерошенную светлую голову. Под носом у него была кровь, но глаза необычайно голубели. Давно я не видел у него таких небесных глаз.

– Вот о чем я говорю. Ты молодец, так заехать братцу в

нос! Ничего, заживет. А ты себя в обиду никогда не давал, хоть всегда был слабей. Дурак. Помоги встать, что ли. Я чувствую себя гребаной рептилией, когда ползу на руках.

\* \* \*

Я подстерег Трикстера в пекарне. Сама мысль о том, что он заставит меня смотреть на смерть еще кого-то, к тому же после того, как я узнал, как тот поступил с Алленби, делала меня почти сумасшедшим. У меня был с собой нож, ведь, как я сам и узнал, трюкач должен умереть именно от него. Я подкараулил его возле кладовки, но в последний момент он увидел меня, сразу понял мой коварный умысел и вцепился мне в горло. Его сухие пальцы были чрезвычайно сильными. В отчаянной неравно борьбе я протянул руку к его искривленному лицу и, почти теряя сознание, сорвал с его брови блестящую сережку. Трикстер закричал. Он, конечно, не ожидал этого, но хватки почти не ослабил. Мне было очень больно, и я не мог вдохнуть. Я уже был почти в полной темноте, кашляя в тщетных попытках получить кислород, как вдруг хватка трюкача ослабла. Он, залитый кровью из раны на лице, осел. За ним стоял Джад. Сначала я думал, что он убьет меня, и только потом до меня дошло, что именно Джад и оглушил своего хозяина.

– Зачем ты мне помог? – Едва выдавил из себя я.

– За себя отомстил, не за тебя, – пробормотал он. Джад поднял свое тонкое жало, занес его над телом хозяина... –



Уходи, – бросил он мне, – пока цел. – Я решил последовать его совету.

Трикстер медленно открыл глаза. Он плохо видел из-за крови, вытекавшей из раны. Осмотревшись и убедившись, что Асфоделю удалось уйти, он заметил рыжего слугу.

– Чего ты до сих пор здесь, дурак? Не хватило ума сделать ноги? – отрывисто бросил музыкант.

Джад молчал – ему не было приказано иначе.

– Остался – сам виноват, – прорычал Трикстер, поднимаясь. Он выхватил у Джада его стальную спицу и, сильно толкнув рыжеволосого, так, что тот ударился о кирпичную стену, коротким и злым ударом проткнул его грудь.

## Глава 9

На нетвердых ногах, в таких же неуверенных сумерках – они уже не день, но еще не ночь – в которых растворяется всё настоящее, я вошел через сырой подъезд в дом, совсем уже не казавшийся моим.

Я, почему-то не заметив лифт, медленно поднялся, тяжело припечатывая ногами каждую ступень, по тёмной каменной лестнице, на каждом этаже внимательно и настороженно вглядываясь в тускло освещенные коридоры: не стоит ли там, поджидая меня, тощая хищная фигура с железным шипом в руке, чтобы проткнуть меня, насадить на гигантское чудовищное ожерелье? Не прячется ли за каждой неплотно притворенной дверью другая широкоплечая тень, чтобы пленить мой рассудок своими глазами-сверлами?

Глупый, они бы не ждали своего выхода, если бы были здесь. Ты давно был бы мертв, если бы Трикстеру это было нужно. Но мертвые не страдают, им дарован покой, а покой его не интересуется: ведь им не насытиться.

Когда я зашел в свою квартиру, я уже было уверился, что все в порядке – замок не был сломан.

Я зашел в комнату Елисея, шторы были задернуты. Елисей сидел в коляске и смотрел в окно. Зачем ему кресло, ведь он уже мог более менее самостоятельно передвигаться? Я окликнул его, но Елисей не отозвался.

Я подошел ближе, коляска со скрипом развернулась – в ней сидел усмехающийся Трикстер:

– Ну что, думал, избавился от меня? Не только ты сможешь прийти ко мне в дом без приглашения, но и я к тебе... Асфодель, я знаю, зачем ты пришел. Ты не настолько глуп, чтобы думать, будто будешь здесь в безопасности. Значит, ты в каком-то роде сам искал встречи со мной.

– Где Елисей? Что ты с ним сделал?

– Ничего. Это по части Хлои. Ты хотел спасти брата, это достойно уважения... Но сейчас каждый сам за себя!

Трикстер бросился на меня, но я успел почувствовать его рывок и отскочил, захлопнув дверь перед самым его носом, опрометью выбежал из квартиры.

Назад, назад в страшной лихорадке, не оглядываясь, чтобы не потерять драгоценную секунду, я скатился по ступеням!

Прочь, мимо затхлого смрада тёмных заколоченных домов! Мимо немых окон чужих квартир, откуда бесполезно ждать помощи – на дорогу. Мимо пролетела машина, я стал бешено махать – конечно, она не остановилась. Я пересек улицу и, впервые оглянувшись, увидел чёрный силуэт Трикстера в проеме арки. В три прыжка я перебежал дорогу – вот подворотня со старой, обломанной внизу решеткой. «Не пролезешь!» – дразнили они друг друга, играя тут в детстве. Прелезу ли теперь?..

Не раздумывая, я нырнул под решетку, в затхлый холодный воздух. Содрогнулся, когда ржавые когти царапнули

мою спину, прежде чем рука Трикстера, уже потерявшая человеческие очертания, успела схватить меня.

– Дель! – позвал меня тонкий голосок Хлои. – Теперь она возникла за старой решеткой, разделяющей нас. Я, видимо, посмотрел на нее с испугом, она рассмеялась нагло, издевательски, пнув решетку ногой.

## Глава 10

Когда мне исполнилось двенадцать, а Елисею десять, и мы сами уже худо-бедно могли позаботиться о себе, мама все чаще стала уезжать в геологические экспедиции. Возвращалась обычно усталой, недовольной, в пыльной одежде и измазанных грязью грубых ботинках и, сбросив их у порога, сразу же направлялась к себе в комнату, едва поглядев на нас, робко выходявших ей навстречу.

Она очень рано вышла замуж, в 16 лет, когда молодежь еще нежилась на хипанских волнах свободы, любви и травки, и почти сразу после этого появился на свет я. Так что во время ее участвовавших походов ей было всего 28, и, хоть нам в глубине души и казалось, что до этого возраста у нас впереди еще лет сто, мы, даже несмотря на ее строгость и вспыльчивый нрав, не воспринимали ее с достаточным трепетом.

Думаю, именно это чувство свободы, окрасившей ее юность и передавшейся нам, было таким всеобъемлющим, что выходило за понятие аморальности, просто подхватило ее, и она не особенно задумывалась, выходя за нашего отца, двадцатилетнего шалопая и посредственного музыканта. Эта свобода отлилась и нам сполна, мне кажется, и из-за этой расслабленной веры в силу цветов и прочие наивные идеалы мы никогда в полной мере и не осознали, что можно быть

за что-то ответственным. Но мог бы я уже стать родителем спустя лишь четыре года после того, как мне исполнилось двенадцать, как это случилось с ней? Точнее, мог ли бы я с этим справиться? Не думаю, поэтому и не осуждаю маму. Она делала всё, что было в ее силах, став главной в нашем новом лагере детей цветов. Однако, по прихоти судьбы, обязанности ухаживать за инвалидом-Елисеем и в одиночку заботиться о нем свалились на меня, как раз тогда, когда мне исполнилось шестнадцать. Что же это – ирония судьбы? Кармический, мать его, долг?..

Поэтому я почти не удивился, когда, перед моим неудачным покушением на Трикстера, выйдя разбитым после бессонной ночи на кухню, я увидел ее сидящей за столом. Серьезная, тонкие руки лежат на столе. Мама не постарела ни на день! Но ее пронзительные бирюзовые глаза печальны, светло-русые волосы гладко лежат, не доставая до плеч.

Она должна была явиться мне именно так, как она приходила из экспедиций – в старой тёмно-зеленой куртке отца, порыжевшей от пыли мира, который был жив столетия назад, а теперь стал мелом, торфом... глиной. Рядом со стулом лежала ее тощая дорожная сумка, как сторожевая собака.

– Мама! – беспомощно сказал я, застыв на пороге.

Она поднялась мне навстречу, но не подошла ко мне. Тут я заметил – она не сняла ботинок. Комочки засохшей грязи лежали у ее ног.

Я бросился к ней, но она тут же предостерегающе подняла руку:

– Не подходи ко мне, Асфодель. – Дорожная сумка пролегла между нами странной чертой.

– Мама, как ты... Где ты была?!

Она снова опустилась на стул, виновато отведя взгляд.

– Как ты могла?... – выпалил я в эту мучительную тишину.

Наконец она заговорила:

– Я... меня не стало, Дель. Когда тебе было шестнадцать, а Елисею четырнадцать.

– О Господи... так это сон...

– Наши сны реальны, настолько, насколько мы этого хотим. Я совсем недолго могу здесь пробыть.

– Но ты не можешь вот так снова исчезнуть! После всего этого! Я один против них всех, неужели ты не видишь?

– Вижу, Асфодель. Мое сердце разрывается, когда я смотрю на моих сыновей. Всё это время вы думали, что я сама ушла от вас. Я была бессильна рассказать, что не я вас бросила. Однажды вечером меня пригласили на представление Трикстера. И он оказался сильней... Асфодель, сделай то, чего не удалось мне...

Я, не в силах говорить, лишь кивнул.

– ...Значит, всё это время, пока мы думали, что ты в экспедициях...

– Я была с Трикстером, – сказала она печально. Видно было, что ей тяжело говорить.

– Это он убил тебя?

Она молча потерла свою шею, как будто ей нелегко дышать, и чуть приоткрыла рот, чтобы набрать воздуха. Так же, вспомнил я, как это делал Марс.

– Что он хотел от тебя? То же, что от меня? Что делала ты?

Она переступила через свои вещи и приблизилась ко мне. Казалось, она совсем не изменилась: те же мягкие волосы до плеч, грустные светлые глаза.

– Есть один способ, Дель. Правда, я не успела это проверить. Слушай внимательно, – она наклонилась к самому моему уху. От нее повеяло теплом и чем-то сладковатым. Господи, неужели это не на самом деле?.. Я едва услышал то, что она прошептала, так мне хотелось задержать ее, прикоснуться к ней хоть на секунду.

– Мне пора, Асфодель, я не могу дольше оставаться, это опасно. Но помни мои слова. – Она подняла сумку и собралась вставать.

– Но..., – я почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, и с негодованием их смахнул. – Мама, подожди, ну что же ты? Постой, я хочу, чтобы и Елисей...

– Не нужно, сынок. Он меня не увидит.

Я смотрел на нее, стараясь запомнить как можно лучше – ее мягкое выражение лица, ее хрупкую, почти невесомую фигуру. Запомнить на всю оставшуюся мне жизнь.

– Не плачь, Дель. Я никуда на самом деле не уходила, потому что остаюсь жить в вас. Помни об этом и прощай.



– Мама, постой, ведь я не успел тебе сказать...

«Позаботься о Елисее», – еще звучало в моей голове, когда я открыл глаза на кушетке в доме Алленби.

Мое воображение непостоянно. Оно не может долго жить одним образом, как поле мотыльков не может быть неподвижным. И я не в силах создать что-то большое, целостное, ведь мой мир – осколки огромного зеркала, разлетевшегося десятки лет назад, и предвещающая смутное несчастье. Но семь лет, похоже, прошло, не оставив серьезных ран, только каждый осколок лег особо, отражая свой, единственный кусочек неба, или потягивающиеся спины деревьев, или склонившееся лицо – кукольное личико с красивыми нарисованными ресницами и сине-чёрными линзами, за которыми спрятались и смотрят сквозь щелочку испуганные зрачки. Я знаю, что это все ненастоящее, лишь роскошное изделие опытного мастера, но меня все равно притягивает белая кожа и сахарно-розоватые губы, и блестящие чёрные волосы, окружающие лицо, как развернутая оберточная бумага обрамляет желанный подарок.

Я не успеваю наглядеться, я смотрю на него всего пару секунд, два удара моего бешеного сердца, как его уже нет, оно пронеслось мимо меня и скрылось, как цветок, видимый из окна машины. Только это я остаюсь на месте, цепляясь корнями за свою землю, напоенную спящей жизнью и тлением, а оно – далеко-далеко, и видит то, что мне не приснится ни-

когда. А главное не в том, что увидит оно, а в том, кто увидит его. Я знаю, оно скользит мирами как яркая картина, нежный образ, который дарит бог еретику в последний миг, который тот еще способен ощутить. Это ангельское лицо – монета в руках смущенно подающего бога. И это же совсем не плохо, нет. Мне кажется, это называется благодать.

Вот только что чувствует тот, кто сжался за исчерпан-ными радужками улыбающихся глаз? Я не могу сказать, хочу задержать соскальзывающую мысль, но неровный осколок зеркала уже отражает другое – тонкие листья, полные свежих радостных соков, и белую пену цветов, что взорвали это зеленое море избытком чувств. Я не могу объять этот гордо вознесшийся единый порыв, и он возвышается надо мной как бурный водопад над ребенком, собирающим ракушки у его молочных стоп. И, как у ребенка, у меня вдруг наворачиваются слезы – я ведь уже вижу, как белоснежные жемчужинки отрывает ветер, они бессильно летят и опускаются на грязный асфальт, где скоро станут одним с пылью, и зеленая твердыня сокрушенно смотрит вниз на ошметки своего свадебного платья, на свои счастливые слезы, которые стали теперь не больше чем грязь. Но они выстоят, непременно. А сейчас им остается только смиренно отяжелеть плодами и затеряться во дворах воющего города, на который неумолимо надвигается ночь.

Через ее синие кожистые крылья я вижу томно-красные тяжелые вишни на ветке. Мне стоит только посмотреть на

них, и я уже чувствую их невероятную сладость. Но ночь делает медленный взмах, чёрно-красная вишневая густота плывет, растягивается, и через секунду передо мной уже другая картина – длинные нити, напоминающие карамельные, тянутся и тянутся сквозь вечер, такой же бесконечный. Я вдруг понимаю, что эти нити соединяют меня с тобой. Они и телеграфные провода, через которые два наши одиночества вливаются друг в друга, и бикфордовы шнуры, на концах которых – две наших горящих души, которые через мрак и тление просмоленных веревок неумолимо движутся навстречу, к одной неумолимо-фатальной точке, где, я знаю, они непременно взорвутся одной секундой божественной благодати и умрут навсегда.

Зеркало мутнеет, мне уже не видно ничего, я успокаиваю себя, думаю, что это все не по-настоящему, не для нас, слишком мало и глупо, и зачем рождаться, чтоб прийти к этому грустно-крошечному последнему кусочку мозаики, который нисколько не проясняет узора, который мы складывали всю нашу жизнь. Когда мы только начинали, чистое полотно маняще лежало перед нами, и множество разноцветных деталей картины мы горстями сжимали в маленьких радостных руках, словно гладкие леденцы, а первозданность и нетронутость полотна переполняла нас гордостью и чувством, что наши дни бесконечны. Но есть маленькая подлость, о которой мы, как всегда, узнали уже потом: чем большая часть узора уже выложена, тем меньше возможность создать что-

то новое. Надо искать, в какую же дырочку втиснуть эту надоевшую деталь, без нее не двинешься дальше. Работу эту не бросишь, хоть болит голова и устали глаза. вдруг понимаешь, что все вокруг заняты одним делом, они может и хотели бы вырваться из круга, но заманчиво блестящие стекляшки их мозаики не пускают, ведь нельзя выбраться за грань уже сложеного орнамента, не сломав его. Он простирается вокруг все уменьшающегося островка, образуя блестящую пустыню, края которой уже трудно разглядеть. Только иногда видишь кого-то, кто трудится рядом с тобой. Тогда понимаешь – вот чем обернулись необозримые детские мечты, где все было возможно и позволено. Ведь главное – захотеть...

Не так ли и мы, когда положим свой последний кусочек, будем чувствовать лишь всеобъемлющую усталость с безмерным сожалением. В нашем сложившемся орнаменте попросту не останется места для нас, и на закате дня обессиленная любовь милостиво накроет нас двоих своими сладкими тяжелыми крыльями и отнесет в прекрасное тихое место, о котором мы всегда мечтали, вот только ни я, ни ты, Хлоя, уже ничего не почувствуем.

«Хлоя, Лиза, Диана – почему они так похожи между собой? Может, это просто один воображаемый человек? Может, ты просто сошел с ума и сам этого не заметил?», – вкрадчиво говорит внутренний голос. – «Если говорю сам с собой – то наверняка. Поэтому я не буду отвечать».

Я понял, что не смогу уснуть, не смогу лежать в постели,

выключив свет, и ждать, что вот-вот из темноты вынырнет лицо с поблескивающими шилами вместо глаз, и вцепится в меня, и пожрет Елисея, повинного только в том, что сам упустил свою жизнь. Но никто не должен быть убитым за это, ведь сам человек казнит себя всего сильнее. Трикстер похитил Елисея сразу после нашей ссоры, и кто знает, может, мой брат уже всецело на его стороне? Также одурманен вкрадчивыми речами трюкача, как был и я?.. Может, он уже давно мертв, задушен, как Марс, как... была и мама?

Я зажег в комнате две лампы и курил сигареты одну за другой, устроившись в углу, откуда мог следить одновременно за дверью и окном. Я пообещал себе бросить курить, когда закончу с этим делом. «Если, – ухмыльнулся мой внутренний голос, – оно не покончит с тобой».

Темнее всего бывает перед рассветом. Говорят, люди чаще всего умирают в это время, время смены дня и ночи, сегодня и завтра – ведь оно удобней всего для обнуления. Оно само – один мутный ноль, на который глядишь, когда в голове у тебя гудит тяжесть бессонницы. Если всю ночь не спишь, можешь ли ты уловить невесомую ниточку, отделяющую сегодня от завтра? Когда сидишь глубокой ночью в комнате, где ярко горит свет, можешь ли ты обмануть завтрашний день, убедив себя и его в том, что он всего лишь одно затянувшееся «сегодня»?

Я не знал и просто продолжал курить, чтобы чем-то себя занять, так же незаметно для себя и механически, как ды-

шал. Дышать... Надолго ли? Неужели меня охватило чувство, которое обычно ощущают приговоренные к смерти: судорожное желание еще, еще посмотреть на далекий купол церкви в ясном небе, на котором чисто поблескивает солнце? Мысли о том, сколько таких мгновений можно было бы прожить и наслаждаться каждым из них?.. «Да, это как в школе в день экзамена – перед смертью не надышишься», – подытожил с иронией голос. А я бы сдал сотню экзаменов, только бы не было этого проклятого напряжения каждого нерва, каждой, кажется, мышцы. Мне нужно быть быстрым и гибким, прежде всего разумом. Нужно освободить свой ум, свои чувства и позволить им вести меня, а телу – спасать, если что. «Это, парень, и есть экзамен. Самый сложный в жизни», – промолвил голос.

«И почему это называют зрячестью, если она охватывает все чувства, даже те, которым нет названья?..»

Никогда мне не приходилось ощущать такую близость смерти, как тогда. Смерть других была всего лишь пропущена через меня, как сквозь призму, тогда как моя собственная смерть разбила бы эту призму на сотни осколков. Я – смертник, Елисей, сказал бы я своему брату. Давай наговоримся на двадцать лет вперед, потому что на моем сердце огромный, тяжкий груз, и он почти невыносим – как предчувствие тяжело ворчащей грозы. Нет, куда хуже – как предощущение ужасной катастрофы, у меня на душе неотвязное чувство, будто я скоро умру. В зеркале невозможно увидеть

собственные глаза – это иллюзия, которую мы рады принять за правду, всего лишь отраженный рисунок на его амальгаме.

Поэтому в этом деле я – такой же, как все. Не знаю, может, это милость, что я могу лишь догадываться, когда меня не станет. Как чувствуют это с самого утра приговоренные стать едой животные, мне чудится уже уготованный мне острый нож, то спиной, то у горла; предощуаю, как огонь опалит мою шкуру, понимаешь, Елисей? Хотя откуда тебе это знать, мой молодой, маленький брат?

Я – смертник, Алленби. Спасибо за то, что был мне лучшим другом, взрослым товарищем, да что там – отцом. Благодарю тебя за то, что учил и поддерживал меня, и прощаю за то, что сейчас ты не можешь пойти со мной той дорогой, о которой ты рассказал мне, но сам не в состоянии по ней ступить.

Я – смертник, обратился бы я к своей матери. Тебя тоже нет в моей жизни, в нашей с Елисеем на двоих, но я все еще говорю с тобой и помню тебя очень хорошо. И все-таки люблю, несмотря на то, что ты сделала с нами, что исчезла, не сказав и слова ни о том, как следует жить, что делать, и где ты, виной ли твоему побегу я или Елисей... Твой уход, сначала вселивший в меня грешную радость, потом – грусть и наконец – отчаяние, заставил даже ненавидеть тебя, за то, что ты не была с нами рядом в самые важные моменты, и

страшные, и те, когда я просто очень хотел поделиться с тобой своей радостью. И особенно тогда, в тёмном кафельном коридоре мрачной ночной больницы, где за дверью прощался с жизнью раненый Елисей, а мне хотелось биться о стенки и кричать от бессилия, но я только тупо смотрел на криво соединенные плитки под тусклым желтым фонарем, и был совершенно потерян. Но я и тебя прощаю, ведь теперь я знаю, что ты тоже оказалась жертвой Трикстера, и я не дам ему покончить со всей нашей семьей, даже если в итоге спасу только брата.

Я – смертник, Хлоя, мог бы сказать ей я. Теперь я больше тебе нравлюсь? Очаровательная стервятница, ты же подбираешь обреченных, ведь даже если они тебе и не нравятся, как вот я, то их все-таки жаль... Меняет ли это для тебя что-либо? Не думаю. Подумать только, а раньше мне казалось, что я слишком взрослый для грустных мыслей о несчастливой любви.

Я будто уже отчетливо ощущал прикосновение к коже нежных невидимых пальцев, умащающих мое тело золотистым маслом. Я слышал легкий сухой шорох, с которым вплетаются в мои волосы невесомые бумажные цветы, и, стоит только пошевелиться – тихое потрескивание костяных бус у себя а шее.

В этот раз я попал в онейрон рывком, неожиданно, как



будто Трикстер только и ждал, что я на несколько секунд закрою глаза, чтобы забрать меня в своё непонятное царство сна. Первое, что я увидел, когда поднялся на ноги – очень старая, рассохшаяся деревянная лодка, лежащая на границе жесткой ярко-зеленой травы и тростникового поля. Кажется, она лежит тут еще с тех пор, как на месте волнующегося высокого тростника были воды, выбросившие ее на берег в последний раз. Ветром в ее рассохшееся дно намело сухих листьев, птицы уже свили в ней гнезда. Я чувствовал себя, как будто слишком долго спал – достаточно бодрым, но с засевшей где-то в затылке легкой позванивающей болью. Я вспомнил поле ржи, которое видел, выходя из Дома Ирисов. Мне отчего-то казалось, что это место должно быть где-то рядом, что я вышел сквозь белую дверь не на улицу, а сюда, однако рыжего пятна колосьев не было видно вплоть до самого горизонта – там только волнами перекачивалось темно-зеленое море тростника.

Когда я подошел к лодке, то увидел, что в ней лежит Трикстер, смиренно сложив руки. Его лицо страшно осунулось, стало серым, на том месте, где была серьга, запеклась рана, а возле другой брови был бугорок, напоминавший рог. Услышав мои шаги, он открыл глаза и поднялся.

Я отшатнулся.

– Я ждал тебя, Асфодель, – сказала то, что раньше маскировалось под человека.

– Ты убил Марса, когда тот перестал тебя слушаться, и

хотел покончить также и со мной, но у тебя не вышло. Ты убил нашу мать.

– Верно, – спокойно отозвался он. – Я убивал, спасая себя и Хлою, А ты убил девочку, якобы из-за брата, и убивал бы еще, если бы Алленби не перехватил тебя у меня. Есть ли между нами разница, мальчик? Что поделаешь, зрячие – скоропортящийся товар, только их воспитаешь, как они уже думают, что сильней и нравственней меня. Смешно! А сейчас умрешь и ты, – сказал он, выпрыгивая из лодки.

Трубный звук заглушил его последние слова. Трикстер повернул голову: к нам приближалась какая-то процессия. Служители, сгорбленные твари с серой кожей и всегда жадно раскрытыми пастьями, в нашем мире выглядящие как старые шелудивые псы, несли роскошный паланкин, на котором возвышалось изукрашенное цветами резное золотое кресло. В нем сидел юноша с бронзовой кожей, льняными кудрями, с нежно-голубыми цветами в волосах и ярких бусах всех цветов вокруг шеи, держа в руках амфору. Трикстер смотрел на него с каким-то благоговением, казалось, забыв обо мне. Это был Джанвантари, воплощение всех «зрячих». Это был мой брат.

\* \* \*

Елисей чувствовал себя так, будто прозрел... Теперь он понял, что стал по-настоящему видеть, хотя до недавнего времени не догадывался, что был слепым. Елисей сидел в па-

ланкине, вцепившись пальцами в резные подлокотники плетеного кресла: он видел брата, человека с пепельной кожей и серьгами, напоминавшими теперь скорее рога, и Хлою. Но за ними толпилось ещё полчище каких-то размытых фигур, грифельно-серых на ослепительно белой равнине, и странная процессия с ним во главе двигалась им навстречу. Елисей не смотрел в глаза никому в отдельности, но как будто переживал взгляды всех, кто смотрел сейчас на него. С удивлением, как Асфодель, с удовлетворением, как Трикстер, с жалостью, как Хлоя. Он видел смерти всех, он смотрел сейчас на самую смерть, немую и равнодушную, юноша словно заглядывал в гигантский котел с живым человеческим варевом. Елисей почувствовал, что у него кружится голова, а костяные бусы будто впиваются в шею и душат. «Я не просил об этом!», – вскричало всё его естество, однако сам он, как часто бывает это в кошмарных снах, не смог выдать из пересохшего рта ни звука.

– Не просил. Я потребовал этого от тебя, Джанвантари, и у тебя нет другого выхода. Теперь ты вечно будешь моим проводником в царстве онейрона, ты будешь питать меня, указывая на те пути, по которым следует мне идти, чтобы не умирать, и ты не умрешь вместе со мной, – сказал Трикстер. В этот момент его взгляд был обращен только на Елисея.

– Но... – сказал я, – зачем же ты всё время внушал мне, что я должен стать зрячим?

Трикстер недовольно перевел глаза на меня:

– Ты всегда сомневался, Асфодель. Да, какое-то время ты был мне покорен, но на самом деле эта покорность была результатом всего лишь твоей трусости. Ты бы убил меня при первой же возможности, и пытался это сделать, только я тебе не позволил. Елисей же будет верен мне, потому что им движет любовь.

– Елисей даже не знает тебя, ты просто обманул его, используя Хлою как приманку. Это её он, возможно, любит, а не кровожадное чудовище, которое все время дергало Хлою за ниточки!

– Нет, дорогой Асфодель, ты так и не понял главного: Я и есть Хлоя, ибо мы – одно. Если ты любил ее, а это так, я знаю, то ты любил и меня, принял и меня как своего господина!

Хлоя в это время глядела на нас подавленно и испугано, отступив от Трикстера шагов на пять.

Взгляд Елисея был туманным. Судорожным движением он пытался разорвать нитку разноцветных бус на шее, но у него не получалось.

– Я дал тебе воспользоваться мной, но моего брата ты не получишь, – выпалил я и кинулся к паланкину. Из-за него ко мне бросились несколько служителей, и Трикстер тоже мгновенно ринулся за мной. Не успел я прикоснуться к Елисею, трюкач нагнал меня и повалил на белый песок. Я ударил его изо всех сил, он скривился, но не ослабил хватки. Отвратительные стражи окружили нас, раскрывая рты и как бы при-танцовывая.

«Назад, я сам!», – прикрикнул на них Трикстер.

Сжав пальцы на моем горле, он, к моему удивлению, не закончил дело. Он просто держал меня, не давая освободиться. «Что он хочет делать? Можно ли умереть в онейроне? Может, в нем мы все мертвы, и только возрождаемся, просыпаясь?», – пронеслось в голове. Трикстер поднял голову, обращаясь к Елисею.

– Ну что, Джанвантари, как мне поступить с этим зрячим? Который обманывал тебя все это время? Который постоянно колебался, вернуть ли тебе твои ноги? Он – не более чем один из тех жалких людей, которые убили тебя, чтобы забрать твой дар, которым всё равно не в состоянии были воспользоваться. Заслуживает ли он жизни?

Елисей посмотрел на меня с некоторым отстраненным интересом. Он не узнавал меня. Возможно, это был не он, а именно бог-пекарь, Джанвантари, как его назвал Трикстер.

– Елисей, – с трудом позвал я. – Брат перевел на меня взгляд, и он окрасился сожалением. – Мама приходила ко мне во сне. Это Трикстер ее убил, как хочет убить и меня. Очнись! – Тут Трикстер с новой силой принялся душить меня. Хлоя подбежала и схватила его за руки, но он грубо оттолкнул ее.

Елисей заморгал, мне показалось, на дне его сознания дух пекаря поколебался.

– Я подарил тебе свободу, о Первый из зрячих! Неужели ты будешь против меня? – Вновь воззвал Трикстер к Елисею.

– Время этого юноши еще не пришло, но ты слеп, Трикстер, и я не осуждаю тебя за то, что ты не видишь этого. Я простил своих убийц и не дам тебе лишать жизни человека, тем более – зрячего. – Голос брата не походил на обыкновенный, был более бесстрастным и спокойным. В брате явно говорил этот бог-пекарь.

Трикстер взревел и изо всех сил сжал руки у меня на горле. Задыхаясь, я ударил его в лицо и почувствовал, что в глазах темнеет.

– Трикстер! – раздался голос Хлои. Он вскинул на нее взгляд страшных глаз. У нее в руке блеснула спица Джада и она быстро, без колебаний, вонзила её себе в грудь.

Вскрикнув, Трикстер кинулся к ней, прыжком преодолев разделявшие их несколько шагов. В первый раз я увидел на его лице страх.

«Убьешь её – он тоже умрет», – вспомнил я слова Алленби. Хлоя тоже наверняка знала об этом.

Трикстер склонился над девушкой. Он упал на колени, одной рукой держа ее за руку, другую прижав к своей груди. С трудом дыша, он пробормотал:

– Что ты наделала, глупая? Зачем?

– Я больше не хотела... жить. Это ты заставлял меня, – прошептала она, подняв на него отчаянные глаза. Трюкач захрипел и упал рядом с ней. Волосы Хлои метались чёрными змеями на белом песке. Трикстер лежал неподвижно, но его полузакрытые глаза, казалось, могли ещё повернуть-

ся в нашу сторону. Он не мог просто так умереть, он, старый хитрый паук, изменчивый, способный приспособиться ко всему, как сама жизнь. Вот почему он приставил Джада следить за Хлоей – боялся не столько за нее, сколько за себя. Его окруженный морщинками расслабленный рот готов был скривиться в привычную ухмылку. Только сейчас я смог достать нож Марса и, крепко сжав рукоять, приблизился к трюкачу.

Елисей застонал и попытался встать со своего золоченого трона.

Когда я подошел, веки Трикстера задрожали: я был прав, он еще жил.

– Асфодель... – слетело с его губ. Теперь он заговорил по-другому, ласково, видно, снова хотел от меня еще одной, последней услуги.

– Передай нам часть... как делал я для Елисея, ты тоже сможешь! Ну же!

Я молча смотрел на него, распростертого на песке. Он криво усмехнулся, поняв, что я не собираюсь уже исполнять никаких его просьб.

– Не хочешь спасти даже её, свою любимую?.. Хм, возможно, человек так несчастен именно потому, что в его сердце любви больше, чем нужно на целую жизнь... Но даже у такого чудовища, как я, была моя Маргарита – веришь ли?

– Есть, а не была, – странным образом пришли мне на ум слова внутреннего голоса.

– Ты прав. Впрочем, последнее время это была только тень той Хлои, которую я когда-то знал. Которую любил. Она до того привыкла притворяться обычной девушкой, юной и просто ищущей наслаждений, ни о чем не грустя, не вспоминая (как я же ей и приказал!), что постепенно забыла, какой была. Странно, до чего пошлым мне теперь кажется само это слово – любовь. Я помню, что я ощущал ее, но сегодня оно уже ничего не значит для меня. Асфодель... последнее время нашей с Хлоей жизни мне постоянно казалось, будто мы плывем куда-то на огромном, ветхом корабле. Только курс давно утерян, и штурвал поворачивает лишь ветер. Еды – настоящей, способной насытить – уже давно нет, осталось лишь жалкое, прозрачное питье, которое я добываю с огромным трудом, жертвуя матросами. Одним за другим, пока нас не останется только двое – я и моя умирающая возлюбленная, которой я вливаю в рот тонкой струйкой жизнь, и уже давно – против ее воли.

– Мне жаль вас...

– Не нужно, жалость окажет тебе медвежью услугу.

– Если бы ты рассказал мне это с самого начала, я бы не ненавидел тебя. Я бы смог понять.

– Ты сможешь понять, только оказавшись на моем месте... Как бы я хотел, чтобы ты присматривал за Хлоей! Асфодель, ты же полюбил её... Возможно, теперь ты станешь заботиться о ней? Ты можешь передать жизнь только ей и связать себя с Хлоей нитью вечной! – его угасающие глаза



вновь вспыхнули тёмным огнем.

Я молчал. Поднявшийся ветер взвивал в воздух белоснежный песок, и тот попадал в полураскрытые глаза трюкача. Жизнь медленно покидала его – возможно ли это было?

– Нет, Трикстер. Ты любил её больше всех – так, как мне не под силу. Ты любил её так, что постепенно врос в ее душу и стал ею.

– ... Вот почему я не желал, чтобы ты узнал всё это. Когда ты ничего не знал о ней, она манила тебя, смертельно была тебе нужна. Сейчас же она тебе противна – из-за меня. Пусть так, я давно привык, что порчу всё, к чему притронусь. Но сама-то она осталась прежней, Асфodelь! Она такая же, какой ты в первый раз увидел ее на городской площади!

Я посмотрел на Хлою, распростертую на земле. Мне казалось, она еще дышала — пронзительно-светлые глаза были распахнуты, на лице блуждала странная, тихая улыбка... Когда мы ничего не знаем об интересующем нас человеке, его образ, видимый издали и слитый со многими другими из пестрых запасов нашей головы, кажется нам почти идеальным, но когда мы приближаемся к нему, незначительные на первый взгляд мелочи подтачивают и разрушают его. Трикстер был прав, он приблизился к людям так близко, стараясь буквально влезть к ним под кожу и раствориться в них, чтобы выжить, что просто перестал их видеть. Всех, кроме одного человека. Кроме одной.

Сделав выдох, я, как мог быстро и сильно, вонзил нож

Трикстеру в грудь, целясь в сердце.

Я вскинул взгляд на Хлою: ее губы безжизненно распались, глаза были остекленело раскрыты – она умерла. Крохотная распростертая на песке фигурка Хлои выглядела жалкой.

Мне казалось, что служители теперь набросятся на нас, но они лишь отступили, ворча: видимо, последний приказ их хозяина не трогать меня действовал даже после его смерти.

Наконец, я поспешил к Елисею. Служители расступились, когда я приблизился к паланкину. Брат медленно выходил из транса и слабо улыбнулся мне: «Точно не помню, что говорил, но, надеюсь, что-то правильное». «Да, Лис, ты всё сделал верно», – сказал я и взял его под локоть, желая помочь встать, но он снова усмехнулся, на сей раз грустно: «Нет, Дель, я опять не могу ходить...».

Боги живут, пока их помнят. Вот почему я очень хотел забыть Трикстера и его печальную подругу Хлою, но не мог, как ни старался. И никогда не узнаю, почему мне было дано видеть больше других, если я все равно не имел власти что-то изменить, и все, чего когда-либо хотел – лишь печь золотой хлеб.